

ГРАНИ

GRANI

77

1970

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Oktober 1970

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

В Германии и во всех других странах, кроме США и Канады:

При подписке непосредственно из издательства — 26 НМ.

При подписке через представителей и книжные магазины — 30 НМ.

Цена в розничной продаже — 7.50 НМ (или эквивалент 7.50 НМ)

В США и Канаде:

При подписке непосредственно из издательства — 7 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные магазины — 10 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 2.50 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:

почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 215 640, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

Из Германии удобнее переводить деньги на

Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main

ВОЗРОЖДЕНИЕ

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Во Франции: 12 номеров — 80 фр.; 6 номеров — 45 фр.

Заграницей: 12 номеров — 21 ам. дол.; 8 ф. ст. 8 ш.; 80 НМ.

6 номеров — 12 ам. дол.; 4 ф. ст. 16 ш.; 45 НМ.

Цена в розничной продаже: во Франции — 8 фр.; заграницей — 2.50 ам. дол.; 1 ф. ст.; 9 НМ.

Подписную плату временно направлять по адресу: **c/o S. S. Obolensky,**
для «ВОЗРОЖДЕНИЯ», **Chemin de la Côte-du-Moulin. 78-L'Etang-la-**
Ville. France.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXV

№ 77

1970 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ — А в это время... Поэма	4
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ — Аневризма аорты. Кусок мяса. Припадок. Бизнесмен. Женщина блатного мира. Сергей Есенин и воровской мир. Рассказы	15
ИЛЬЯ ГАБАЙ — В последний раз в имение родовом. Позднее кредо Иова. Стихи	49
В. КОСТЕЦКИЙ — Адам, я и капиташа	54

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ — Записки на манжетах. Отрывки	74
Вечер памяти Мандельштама в МГУ	82
Е. ОЛИЦКАЯ — Соловки. Отрывки из книги	89
Н. Ф. ПЛАТТЕН — Из Зеркального переулка в Кремль	102

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. АЛЕКСАНДРОВ — О повести «Котлован» А. Платонова	134
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Н. О. ЛОССКИЙ — Интуитивизм	144
Г. ПОМЕРАНЦ — Человек без прилагательного	171

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Перелешин. Апологет ереси. — Глеб Рар. «Церковь и Россия». — А. Русак. Пятнадцать веков христианского искусства. — Вл. Неж- данов. Люди за бортом. — О. Можайская. В преодолении Рока	199
Список книг, поступивших в редакцию	213
Обращения редакции «Граней» и издательства «Посев»	215

© 1970 Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»



ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ В КОНЦЛАГЕРЕ

Портрет работы заключенного художника Юрия Иванова.

Фото: Europa Civilta

Юлий Маркович Даниэль (род. в 1925 г.) — литературный переводчик, писатель и поэт. За опубликование своих произведений за границей под псевдонимом Николай Аржак был в 1965 г. арестован, судим и приговорен к 5 годам строгого режима. В настоящее время находится во Владимирской тюрьме. — Р е д.

А в это время . . .

Поэма

1

Тем, кто не сломлен лагерным стажем,
рядом с которым наш — пустыки,
нашим товарищам, нашим старшим —
я посвящаю эти стихи.

Тем, кто упрямо выжил и вышел,
в ком еще горькая память жива,
тем, кому снятся контуры вышек, —
я посвящаю эти слова.

Тем, кто читает дальше названья,
тем, кому люди и в горе близки,
тем, кто не трусит трудного знанья, —
я посвящаю эти листки.

Чьим-то простым, беззащитным и сильным
главам еще не написанных книг,
будущим пьесам, полотнам и фильмам
я посвящаю мой черновик.

II

Тому уже три века,
тому всего три дня,
как Муза дальних странствий
взревела под окном,

по кочкам и по строчкам
поволокла меня
в неукротимом газике,
в бывалом «ворономе».

Дорога, о дорога!
Жестокая жара...
Дорога, о дорога!
Железные морозы...
Ведут машину нашу
слепые шофера,
раздавливая скатами
наивные вопросы.

Ни очага, ни света,
ни птиц, ни тишины,
а только километры
качающихся суток,
и наши судьбы пестрые
силком сопряжены
в бегущих по дорогам
решетчатых сосудах.

К далекой остановке
протянута ладонь...
Подъемы и уклоны,
то кувырком, то юзом...
А что же было раньше,
а что же было ДО
со всеми нами — этим
подведомственным грузом?

III

Нам не понять друг друга никогда.
Они не молят: «Господи, доколе?»
А лишь твердят: «Теперь-то ерунда...
А мы, браток, — мы видели такое...»

Здесь фраза отстоялась, как строка,
в ней каждый звук — нечаянной уликой,
как будто простодушные века
рисует некий Нестор многоликий.

Бредовая, чудовищная вязь,
но смысл ее на диво прост и четок,
он подтвержден свидетельствами язв,
печатами безумий и чахоток;

он подтвержден смиреньем стариков,
и ропотом, привычным и покорным,
и верой, что Покойный не таков,
чтоб он на самом деле стал покойным.

В том этот смысл, что чья-то злая спесь
живых людей, как дробь, сократила,
что корчилась, хрустя костями, песнь
под деловитым каблуком кретина.

А я не верю правде этих слов,
мне не под силу откровенья эти,
и горький мой, незванный мой улов,
колеблет переполненные сети...

IV

Что такое «концлагерь»? На лике столетья горит,
словно след пятерни, этот странный словесный гибрид.

«Лагерь» — это известно: «... под Яссами лагерь разбил,
кукарекал с утра и лозу на фашины рубил...»

«Лагерь» — это знакомо: «... устроили лагерь в лесу,
осушали росу, кипятили ручей на весу...»

Что же значит приставка, нарост неестественный — «конц»,
от которого слово в предсмертной икоте летит под откос,

а потом, обернувшись, хрипя ненасытным нутром,
вурдалаком встает, перевертнем встает, упырем?

Может быть, машинистка, печатая Тайный Указ, —
вместо «а» букву «о», и читать это надобно «канц»?

Канцелярских путей вождеденный веками итог.
Суший рай, парадиз, где параграф всесилен, как Бог.

Где «входящие» есть, «исходящие» — меньше, но есть,
где в обход циркуляра — ни пернуть, ни встать и ни сесть.

Может быть, нерадивый напортил наборщик-юнец,
поспешил, пропустил? И читать это надо — «конец»?

Сотворенью — конец. Утоленью — конец. И всему,
что тревожило тьму, что мерцало душе и уму.

Человеку — конец. Человечности — тоже хана.
Кроме миски баланды не будет уже ни хрена...

Так ли, нет ли — не знаю. Но этот ублюдошный слог
в каждом доме живет, он обыденным сделаться смог.

Ну так что ж ты, Филолог? Давай, отвечай, говори,
с кем словечко прижил, как помог ему влезть в словари?

И когда, наконец, ты ворвешься в привычный застой
и убьешь этот слог, зачеркнув его красной чертой?

V

Погорельцем с сумою — под окна,
под зажиточные — моля:
— Дом сгорел, корова подохла,
помогите Господа для!..

Забулдыгой — к чужому столику:
— Понимаешь, я на мели;
от щедрот своих малую толику —
алкоголику — удели!..

Нежеланным — к желанной, как к жаркому
очагу — из промерзлой степи:
— Дай согреться! Ну что тебе — жалко?
Дай согреться. Дай. Устужи.

...Каждый день — от рассветного часа
и до полночи — мучась и клянча:
— О Поэзия! Мне — не Пегаса,
мне согдится рабочая кляча.

Попрошайкой-медведем из клетки,
задыхаясь по-стариковски:
— Ты бы мне не обеды — объедки,
ты бы мне не обновы — обноски,

мне б не меч, а клюку — подпираться...
Ты не брезгуй — все очень просто:
без тебя мне вовек не добраться
до отчизны, чье имя — Проза.

Знаю, щедрости недостоин;
ну а ты — не любя и не тратясь, —
через фортку — что тебе стоит?! —
в узелок мой — остатки трапез!

...Умоляя и угрожая,
что ни день меняя обличье,
к нам взывает тоска чужая
всею болью косноязычья...

VI

А в это время, вечером воскресным,
мой быт лукавый ублажал меня
сухим вином, и старомодным креслом,
и легким грузом прожитого дня.

Казалось, что пора глухонемая
ушла навек и стинула в былом —
аминь, аминь!.. И чудо пониманья
на равных восседало за столом.

На стук любой распахивались двери,
и в них входил, конечно, только свой,
и нимбу умиленного доверья
сиялось всласть у нас над головой.

И был прекрасен вечер законный,
и нежность к сердцу — теплою волной...
...А в это время, издавна знакомый,
шел по бараку шмон очередной.

Он рылся в стариковских корках кислых,
он пачки сигаретные вскрывал,
он, как в отбросах, в материнских письмах
брезгливыми руками шуровал.

Он тряпки тряс и — мимо коек — на пол
(молчи, зека, не суйся на рожон!),
разглядывал он фото, словно лапал
чужих невест, возлюбленных и жен...

...А что же раньше? Раньше было море,
врачующее от житейских ран,
и мы, толпою, как на богомолье,
идушие к прибою по утрам;

и тяжесть волн, работавших на совесть,
ракушечника желтая пыльца,
и наших тел полет и невесомость,
и солнце, солнце, солнце без конца.

Существованья светлomu усилью
без устали учил нас добрый зной,
учило море любоваться синью,
и горы — непреложной крутизной.

(Друг, погоди! Пожалуйста, не думай,
что я собой заполнил этот стих,
себя припомнив, развлекаюсь суммой
своих страстей и радостей своих.

Я — это ты. Не больше и не меньше.
И я, и ты — мы от одних начал.
Я, как и ты, постыдно онемевши,
за годом год молчал, молчал, молчал.

Я — это ты. Не лучше и не плоше.
Я, как и ты, любил, работал, пил,
я, как и ты, ослепши и оглохши,
добро удач за годом год копил;

стихи читали, на цветах гадали,
«Ах, было что-то — поросло былъем!»)
...А в это время где-то в Магадане
происходил обыкновенный «съем».

Дошедшие до ручки и до точки,
приемля жизнь со смертью пополам,
под «Хороши весной в саду цветочки»
бредут зека, осилившие план:

гнусит гитара, взвизгивает скрипка,
брезентовый бормочет барабан!
О Господи, страшна Твоя улыбка
и непонятна пасмурным рабам.

Нет Бога — над, и нет земли под нами,
и кто-то от тоски — не сгоряча
вдруг скажет: «Ну, прощайте...» — лом поднимет
и грохнет рядового палача.

А может быть, конец и так уж близок:
известняковый не добил карьер —
но высочайше утвержденный список
уже везет умученный курьер;

и землекопов мерные движенья
увенчивают будничным расстрел...
...А в этот миг на чудо обнаженья
светло и потрясенно я смотрел.

Доверчиво, без хитростей, без тыла
(Будь так же чист и так же нежен будь!)
плывут ко мне безгрешно и бесстыдно
струящиеся руки, плечи, грудь.

И нежное колено открывая,
как кожа, снимается чулок...
...А в это время песня хоровая
летит от нар в дощатый потолок;

а в это время кто-то спорит с кем-то,
постичь пытаюсь общего врага;
как на картинах Рокуэлла Кента,
блестят в глаза белейшие снега;

под ними — пот, не растопивший грунта,
под ними — кровь, не давшая ростка,
под ними, захороненная грубо,
лежит неисчислимая тоска...

...А в это время в залах Исторички
река науки благостно текла...

...А в это время выли истерички
и резались осколками стекла...

...А в это время тени шли по сходням
в Колымском трижды проклятом порту...

...А в это время мы по ценам сходным
сбивали ум, талант и красоту...

А может, хватит дергать нервы наши?
Ведь мы и знать, наверно, не должны,
что женщины за миску постной каши
с себя снимали ватные штаны.

А может, впрямь пора щадить друг друга
и эту память вывести в расход:
про «ласточку», «парашу», «пятый угол»,
про «бур» и «без последнего развод»?

Пора забыть. А иначе — едва ли
так проживем отпущенные дни,
чтоб никогда о нас не горевали,
не называли траурно — «они»...

VII

Кто это? Люди или окурки
с горьким и слипшимся табаком?
Черные брюки, черные куртки,
черные шапки с козырьком.

Неиссякаемая вереница
из века в век, от ворот до ворот;
черной усталостью мочены лица —
бывшие люди, бывший народ.

Сколько их били-учили метели
руки и летом совать в рукава?
Медленно движутся черные тени,
чудятся медленные слова:

«— Вы — отщепенцы, отбросы, отсевы,
в кучу собрал вас мудрый закон;
от состраданья отсечены все вы
буквой и цифрой, штыком и замком.

Вы опечатаны «словом и делом»,
каждый рассвет — не исток, а итог,
ваших желаний да будут пределом
сала полоска да чаю глоток.

Сдайтесь. Продумано это умело.
Так или иначе, всем вам конец:
осуществляется высшая мера —
мир и спокойствие ваших сердец...»

VIII

Литераторы в новых костюмах,
свежекупленных из аванса,
вам не спрятать морщинок угрюмых,
никуда от себя не деваться.

Не умеют молчать ваши лица,
как молчат иногда ваши строки;
литься лютой беде — не излиться,
не отбыты еще ваши строки.

Ты нахохлился, брови насупил,
щелкнул мастер, позицию выбрав, —
и лицо твое пало на супер,
как тревожный и властный эпитаф.

На страницах — полет и дерзание,
на страницах — пурга и цветенье,
ну, а здесь — притворились глазами
два страданья, две ямы, две тени.

Это знак, что уплачена плата
за страданье, что Данту не снилось.
Помнят плечи дырявость бушлата,
помнят ноздри баландную гнилость,

помнят уши барачные скверны,
сердце — жизнью пропавших осколки...
Откровенны и достоверны
лица, вынесенные за скобки,

лица, заочневшие в думах,
лица, ждущие все чего-то.
...Литераторы в новых костюмах,
необмятых, надетых для фото.

IX

Я не могу угадать наперед,
распорядиться собой:
грустной ли дудкой буду я
или вопящей трубой.

Мне бы с устатку — рюмку вина,
тихий бы разговор,
крест на минувшем, пламя в печи
да изнутри затвор.

Только ведь это совсем нелегко —
вовремя зубы сжать,
гнев и обиду презрением гасить,
ненависти бежать.

Вряд ли смогу я с собой совладать,
горячий сглотнуть комок;
сердце одним лишь друзьям открыть —
кто бы из наших смог?

Мы не посмеем теперь солгать
тетрадочному листу,
розовым цветом скруглять углы
больше невмоготу.

Нам — не идиллия, не пастораль,
не бессловесный гимн —
обречены мы запомнить всё
и рассказать другим.

*Озерный,
Мордовия,
п/я ЖХ 385/17-а
1968г.*

Аневризма аорты

Дежурство Геннадий Петрович Зайцев принял в девять часов утра, а уже в половине одиннадцатого пришел «этап» больных — женщин. Среди них была та самая больная, о которой Геннадия Петровича предупреждал Подшивалов, — Екатерина Гловацкая. Темноглазая полная, она понравилась Геннадию Петровичу, очень понравилась.

— Хороша? — спросил фельдшер, когда больных увели мыться.

— Хороша...

— Это... — и фельдшер прошептал что-то на ухо доктору Зайцеву.

— Ну и что ж, что Сенькина? — громко сказал Геннадий Петрович. — Сенькина или Венькина, а попытка — не пытка.

— Ни пуха, ни пера. От всей души!

К вечеру Геннадий Петрович отправился в обход больницы. Дежурные фельдшера, зная зайцевские привычки, наливали в мензурки необычайные смеси из «тинатура абсенти» и «тинатура валериани», а то и ликер «Голубая ночь», попросту денатурированный спирт. Лицо Геннадия Петровича краснело всё больше, коротко остриженные седые волосы не скрывали багровой лысины дежурного врача. До женского отделения Зайцев добрался в одиннадцать вечера. Женское отделение уже было заложено на железные засовы во избежание покушения насильников-блатарей из мужского отделения. В двери был тюремный «глазок», или «волчок», и кнопка электрического звонка, ведущего на вахту, в помещение охраны.

Геннадий Петрович постучал, «глазок» «мигнул», и загремели засовы. Дежурная ночная сестра отперла дверь. Слабости Геннадия Петровича были ей достаточно известны, и она относилась к ним со всем снисхождением арестанта к арестанту.

См. предыдущие рассказы и биографические данные об авторе в «Гранях» № 76. Помещаемые в этом номере рассказы В. Шаламова публикуются по-русски впервые и получены редакцией из России. — Ред.

Геннадий Петрович прошел в процедурку, и сестра подала ему мензурку с «Голубой ночью». Геннадий Петрович выпил.

— Позови мне из сегодняшних, эту... Гловацкую.

— Да ведь... — сестра укоризненно покачала головой.

— Не твое дело. Зови ее сюда...

.

Катя постучала в дверь и вошла.

Дежурный врач запер дверь на задвижку.

Катя присела на край кушетки. Геннадий Петрович расстегнул ее халат, сдвинул воротник халата и зашептал:

— Я должен тебя выслушать... твое сердце... Твоя заведующая просила... Я по-французски... без стетоскопа...

Геннадий Петрович прижался волосатым ухом к теплой груди Кати. Всё происходило так, как и десятки раз раньше, с другими. Лицо Геннадия Петровича побагровело, и он слышал только глухие удары собственного сердца. Он обнял Катю. Внезапно он услышал какой-то странный и очень знакомый звук. Казалось, где-то рядом мурлыкает кошка или журчит горный ручей. Геннадий Петрович был слишком врачом — ведь как-никак он был когда-то ассистентом Плетнева.

Собственное сердце билось всё тише, всё ровней. Геннадий Петрович вытер вспотевший лоб вафельным полотенцем и начал слушать Катю сначала. Он попросил ее раздеться, и она разделась, встревоженная его изменившимся тоном, тревогой, которая была в его голосе и глазах.

Геннадий Петрович слушал еще и еще раз — кошачье мурлыканье не умолкало.

Он походил по комнате, щелкая пальцами, и отпер задвижку. Ночная дежурная сестра, доверительно улыбаясь, вошла в комнату.

— Дайте мне историю болезни этой больной, — сказал Геннадий Петрович. — Уведите ее. Простите меня, Катя.

Геннадий Петрович взял папку с историей болезни Гловацкой и сел к столу.

.

— Вот видите, Василий Калиныч, — говорил начальник больницы новому парторгу на другое утро, — вы — колымчанин молодой, вы всех подлостей господ каторжан не знаете. Вот почитайте, что нынче дежурный врач отхватил. Вот рапорт Зайцева.

Парторг отошел к окну и, отогнув занавеску, поймал свет, рассеянный толстым законным льдом, на бумагу рапорта.

— Ну?

— Это, кажется, очень опасно...

Начальник захохотал.

— Меня, — сказал он важно, — меня господин Подшивалов не проведет.

Подшивалов был заключенный, руководитель кружка художественной самодеятельности «крепостного театра», как шутил начальник.

— При чем же?

— А вот при чем, мой дорогой Василий Калиныч. Эта девка — Гловацкая — была в культбригаде. Артисты ведь, знаете, пользуются кое-какой свободой. Она — баба Подшивалова.

— Вот что...

— Само собой разумеется, как только это было обнаружено — ее из бригады мы турнули на штрафной женский прииск. В таких делах, Василий Калиныч, мы разлучаем любовников. Кто из них полезней и важней — оставляем у себя, а другого — на штрафной прииск...

— Это не очень справедливо. Надо бы обоих...

— Отнюдь. Ведь цель-то — разлука. Полезный человек остается в больнице. И волки сыты, и овцы целы.

— Так, так...

— Слушайте дальше. Гловацкая уехала на штрафной, а через месяц ее привозят бледную, больную — они ведь там знают, какую глотнуть белену, — и кладут в больницу. Я утром узнаю — велю выписать к черту. Ее увозят. Через три дня привозят снова. Тут мне сказали, что она — великая мастерица вышивания, они ведь в Западной Украине все мастерицы. Моя жена попросила на недельку положить Гловацкую — жена готовит мне какой-то сюрприз ко дню рождения, вышивку, что ли, я не знаю, что... Словом, я вызываю Подшивалова и говорю ему: если ты дашь мне слово не пытаться видаться с Гловацкой — положу ее на неделю. Подшивалов клянется и благодарит.

— И что же? Виделись они?

— Нет, не виделись. Но он сейчас действует через подставных лиц. Вот Зайцев — слов нет, врач неплохой. Даже знаменитый в прошлом. Сейчас настаивает, рапорт написал: «У Гловацкой аневризма аорты». А все находили невроз сердца, стенокардию. Присылали со штрафного с пороком сердца, с фальшивкой — наши врачи разоблачили сразу. Зайцев, изволишь видеть, пишет,

что «каждое неосторожное движение Гловацкой может вызвать смертельный исход». Видал, как заряжают!

— Да-а, — сказал парторг, — только ведь еще терапевты есть, дали бы другим.

Другим терапевтам начальник показывал Гловацкую и раньше, до зайцевского рапорта. Все они послушно признали ее здоровой. Начальник приказал выписать ее.

.

В кабинет постучали. Вошел Зайцев.

— Вы бы хоть волосы пригладили перед тем, как войти к начальнику.

— Хорошо, — ответил Зайцев, поправляя свои волосы. — Я к вам, гражданин начальник, по важному делу: отправляют Гловацкую. У нее аневризма аорты тяжелая. Любое движение...

— Вон отсюда! — заорал начальник. — До чего дошли подлецы! В кабинет являются.

Катя собрала вещи после традиционного неторопливого обыска, сложила их в мешок, встала в ряды «этапа». Конвойный выкликнул ее фамилию, она сделала несколько шагов — и огромная больничная дверь вытолкнула ее наружу. Грузовик, накрытый брезентом, стоял у больничного крыльца. Задняя крышка была откинута. Стоявшая в кузове машины медицинская сестра протянула Кате руку. Из густого морозного тумана выступил Подшивалов. Он помахал Кате рукавицей. Катя улыбнулась ему спокойно и весело, протянула медсестре руку и прыгнула в машину.

Тотчас же в груди Кати стало горячо до жжения, и, теряя сознание, она увидела в последний раз перекошенное страхом лицо Подшивалова и обледенелые больничные окна.

— Несите ее в приемный покой, — распорядился дежурный врач.

— Правильней ее нести в морг, — сказал Зайцев.

Кусок мяса

Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умилостивить бога. Умилостивить бога или обмануть? Жизнь повторяет шекспировские сюжеты чаще, чем мы думаем.

Разве Леди Макбет, Ричард III, король Клавдий — только средневековая даль? Разве Шейлок, который хотел вырезать из тела венецианского купца фунт живого человеческого мяса, разве Шейлок — сказка? Конечно, червеобразный отросток слепой кишки, рудиментарный орган, весит меньше фунта. Конечно, кровавая жертва приносилась с соблюдением полной стерильности. И всё же... Рудиментарный орган оказался вовсе не рудиментарным, а нужным, действующим, спасающим жизнь...

Конец года наполняет жизнь заключенных тревогой — всех, кто держится за свои места нетвердо (а кто из арестантов уверен, что держится твердо?), разумеется, из пятьдесят восьмой статьи, завоевавших после многолетней работы в забое, в голоде и холоде призрачное, неуверенное счастье нескольких месяцев, нескольких недель на работе по специальности или любым «придурком» — бухгалтером, фельдшером, врачом, лаборантом; всех, кто пробился на должности, кои положено занимать вольнонаемным (а вольнонаемных нет) или «бытовикам» (а бытовики мало ценят эти «привилегированные работы», ибо могут устроиться на такую работу всегда, а потому пьянствуют и кое-что похуже).

На штатных должностях работает пятьдесят восьмая. И работает хорошо. Отлично. И безнадежно. Ибо приедет комиссия и снимет с работы, да и начальнику выговор даст. И начальник не хочет портить отношений с этой высшей комиссией и заранее убирает всех, кому не положено быть на этих привилегированных должностях.

Хороший начальник ждет приезда комиссии; пусть комиссия поработает сама — кого ей удастся снять, снимет и увезет. Недолго увезти. А кого не снимет, тот останется, останется надолго — на год, до следующего декабря. Или самое малое — на полгода. Начальник похуже, поглупей самолично снимет, не ожидая приезда комиссии, чтобы рапортовать, что всё в порядке. Начальник самый плохой и менее всех опытный выполняет честно приказы высшего начальства и не допускает пятьдесят восьмую статью ни к каким работам, кроме кайла и тачки, пилы и топора. У этого начальника дело идет всего хуже. Таких начальников быстро снимают.

Вот эти наезды — налеты комиссий — бывают всегда к концу года; у высшего начальства свои недоделки по части контроля, и к концу года эти недоделки старается высшее начальство устранить. И посылает комиссии. А кто едет и сам. Сам. И командировочные идут, и «точки» не остались без личного надзора — есть где «галочку» об исполнении поставить, да просто промяться, про-

катиться, а то и показать свой нрав, свою силу, свою величину.

Всё это известно и заключенным, и начальникам — от маленьких и до самых высших с крупными звездами на погонах. Игра эта не новая, обряд хорошо знакомый. И все же волнующий, опасный и неотвратимый.

Приезд этот декабрьский может «переломить судьбу» многим и быстро свести в могилу вчерашних счастливых.

Никаких перемен к лучшему ни для кого в лагере после таких приездов не бывает. Заключенные, особенно пятьдесят восьмая статья, ничего от таких приездов хорошего не ждут. Ждут только плохого.

Еще со вчерашнего вечера поползли слухи, лагерный «перепуг», те самые «параши», которые всегда сбываются. Приехало, говорят, какое-то начальство с целой машиной «бойцов» и тюремным автобусом «черным вороном», чтобы везти свою добычу в каторжные лагеря, засуетились местные начальники, большие стали малыми рядом с хозяевами жизни и смерти — какими-то незнакомыми капитанами, майорами и подполковниками. Подполковник прятался где-то в глубине кабинетов, а капитаны и майоры бегали по двору с какими-то списками, и в этих списках наверняка была фамилия Голубева. Голубев это чувствовал, знал. Но еще ничего не объявляли, никого не вызывали. Еще никого в зоне не «списывали».

С полгода назад, во время очередного приезда в поселок «черного ворона», очередной охоты на людей, Голубев, которого тогда не было в списках, стоял около вахты рядом с заключенным-хирургом. Хирург работал в больнице не только хирургом, а лечил от всех болезней.

Очередную партию пойманных, изловленных, разоблаченных арестантов заталкивали в «черный ворон». Хирург прощался со своим другом — того увозили.

А Голубев стоял рядом с хирургом. И когда машина уползла, поднимая облако пыли, и скрылась в горном ущелье, хирург сказал, глядя в глаза Голубева, сказал про своего друга, уехавшего на смерть:

— Сам виноват. Приступ острого аппендицита — и остался бы здесь.

Голубев хорошо запомнил эти слова. Запомнил не мысль, не суждение. Это было зрительное воспоминание: твердые глаза хирурга, машина в облаке пыли...

— Тебя ищет нарядчик, — подбежал кто-то, и Голубев увидел нарядчика.

— Собирайся!

В руках нарядчика были бумажки — список. Список был небольшой.

— Сейчас, — сказал Голубев.

— На вахту придешь.

Но Голубев пошел не на вахту. Держась обеими руками за правую половину живота, он застонал и заковылял в сторону санчасти.

На крыльцо вышел хирург, тот самый хирург, и что-то отразилось в его глазах, какое-то давнее воспоминание. Может быть, пыльное облако, скрывающее автомашину, увозившую навсегда другого хирурга.

Осмотр был недолог.

— В больницу. И вызывайте операционную сестру. Ассистентом вызывайте врача с вольного поселка. Срочная операция.

В больнице, километрах в двух от «зоны», Голубева раздели, вымыли, записали.

Два санитары ввели и посадили Голубева на операционный стол. Привязали его к столу холщевыми лентами.

— Сейчас будет укол, — услышал он голос хирурга. — Но ты, кажется, парень храбрый.

Голубев молчал.

— Отвечай! Сестра, поговорите с больным.

— Больно?

— Больно.

— Так всегда с местной анестезией, — слышал Голубев голос хирурга, объясняющий что-то ассистенту. — Одни слова, что обезболивание. Вот он...

— Еще потерпи!

Голубев дернулся всем телом от острой боли, но боль почти мгновенно перестала быть острой. Хирурги что-то заговорили наперебой, весело, громко.

Операция шла к концу.

— Ну, удалили твой аппендицит. Сестра, покажите больному его мясо. Видишь?

Сестра поднесла к лицу Голубева змееобразный кусочек кишки размером в полкарандаша.

— Инструкция требует показать больному, что разрез сделан не даром, что отросток действительно удален, — объяснял хирург вольнонаемному своему ассистенту. — Вот для вас и практика небольшая.

— Я вам очень благодарен, — сказал вольнонаемный врач, — за урок.

— За урок гуманности, за урок человеколюбия, — туманно выразился хирург, снимая перчатки.

— Если что-нибудь такое, вы меня обязательно вызывайте, — сказал вольнонаемный врач.

— Если что-нибудь такое, — обязательно вызову, — сказал хирург.

Санитары, выздоравливающие больные в чиненых белых халатах, внесли Голубева в больничную палату. Палата была маленькая, послеоперационная, но операций в больнице было немного, и сейчас там лежали вовсе не хирургические больные.

Голубев лежал на спине, бережно касаясь бинта, замотанного наподобие набедренной повязки индийских факиров, каких-то йогов. Такие рисунки Голубев видел в журналах своего детства, ну а после чуть не целую жизнь не знал, есть такие факиры или йоги в действительности или их нет. Но мысль об йогах скользнула в мозг и исчезла. Волевое напряжение, нервное потрясение спадало, и приятное чувство исполненного долга переполняло тело Голубева, и каждая клетка его тела пела, мурлыкала что-то хорошее. От отправки в каторжную неизвестность Голубев пока избавлен. Это — отсрочка. Сколько дней заживает рана? Семь-восемь. Значит, через две недели снова опасность. Две недели — срок очень далекий, тысячелетний, достаточный для того, чтобы подготовиться к новым испытаниям. Да ведь срок заживления раны — семь-восемь дней, по учебнику, «первичным натяжением», как сказали врачи. А если рана загноится? Если наклейка, закрывающая рану, отстанет от кожи раньше времени? Голубев бережно прощупал наклейку, твердую, уже подсыхающую, пропитанную гуммиарабиком марлю. Прощупал сквозь бинт. Да... Это — запасный выход, резерв еще на несколько дней, а то и месяцев. Если понадобится.

Голубев вспомнил большую приисковую палату, где он лежал с год назад. Там чуть не все больные отматывали свои повязки, подсыпали спасительную грязь, настоящую грязь с пола, расцарапывали, растравляли раны. Тогда эти ночные перевязки у Голубева — новичка — вызывали удивление, чуть не презрение. Но год прошел, и настроения больных стали Голубеву понятны, вызывали чуть не зависть. Теперь он может воспользоваться тогдашним опытом.

Голубев заснул и проснулся оттого, что чья-то рука отогнула одеяло с его лица (Голубев всегда спал по-лагерному, укры-

вался с головой, стараясь, прежде всего, согреть, защитить голову). Над Голубевым склонялось чье-то очень красивое лицо, с усиками и прической под польку или под бокс. Словом, голова была вовсе не арестантской, и Голубев, открыв глаза, подумал, что это — воспоминание вроде йогов или сон, может быть, страшный сон, а может быть, и не страшный.

— Фраерюга, — прохрипел разочарованно человек, закрывая лицо Голубева одеялом. — Фраерюга. Нет людей.

Но Голубев отогнул одеяло бессильными своими пальцами и поглядел на человека. Этот человек знал Голубева, и Голубев знал его. Бесспорно. Но не торопиться, не торопиться узнавать. Нужно хорошо вспомнить. Вспомнить всё. И Голубев вспомнил. Человек с прической под бокс был... Вот человек снимает у окна рубашку, и сейчас Голубев увидит на его груди клубок переплетающихся змей... Человек повернулся, и клубок переплетающихся змей явился перед глазами Голубева. Это был Кононенко, блатарь, с которым Голубев был вместе на пересылке несколько месяцев назад, многосрочник-убийца, видный блатарь, который несколько лет уже «тормозился» в больших следственных тюрьмах. Как только приходил срок выписки, Кононенко убивал на пересылке кого-нибудь, всё равно, кого, любого «фраера», — душил полотенцем. Полотенце, казенное полотенце было любимым орудием убийства у Кононенко, его авторским почерком. Его арестовывали, заводили новое дело, снова судили, добавляли новый двадцатипятилетний срок к многим сотням лет, уже числящимся за Кононенко. После суда Кононенко старался попасть в больницу, «отдохнуть», потом снова убивал, и всё начиналось сначала. Расстрелы блатарей были тогда отменены. Расстреливать можно было только «врагов народа», по пятьдесят восьмой.

«Сейчас Кононенко в больнице, — размышлял Голубев спокойно, а каждая клетка тела радостно пела и ничего не боялась, веря в удачу. — Сейчас Кононенко в больнице. Проходит больничный «цикл» — зловещие фазы своих превращений. Завтра, а может быть, послезавтра, по программе Кононенко, — очередное убийство. Не напрасны ли все старания Голубева — операция, страстное напряжение воли? Вот его, Голубева, и придушит Кононенко как очередную свою жертву. Может быть, не нужно было и уклоняться от отправки в каторжные лагеря, где прикрепляют бубновый туз — прикрепляют шестизначный номер на спине — и дают полосатую одежду? Но зато там не бьют, не растаскивают «жиры». Зато там нет многочисленных Кононенок.

Койка Голубева была у окна. Напротив него лежал Кононенко. А у двери, ногами в ноги Кононенко, лежал третий, и лицо этого третьего Голубев видел хорошо, ему не надо было поворачиваться, чтобы увидеть это лицо. И этого больного Голубев знал. Это был Подосенов, вечный больничный житель.

Открылась дверь, вошел фельдшер с лекарствами.

— Казаков! — крикнул он.

— Здесь, — крикнул Кононенко, вставая.

— Тебе ксива, — и передал сложенную в несколько раз бумажку.

«Казаков? — билось в мозгу Голубева, не останавливаясь. — Но ведь это не Казаков, а Кононенко». И внезапно Голубев понял, и на теле его выступил холодный пот.

Всё оказывалось гораздо хуже. Никто из трех не ошибался. Это был Кононенко, «сухарь», как говорят блатные о принявших на себя чужое имя; и под чужим именем, именем Казакова, со статьями Казакова, «сменщиком» он положен в эту больницу. Это еще хуже, еще опасней. Если Кононенко — только Кононенко, его жертвой может быть Голубев, а может, и не Голубев. Тут есть еще выбор, случайность, возможность спасения. Но если Кононенко — Казаков, тогда для Голубева нет спасения. Если только Кононенко заподозрит, — Голубев умрет.

— Ты что, встречал меня раньше? Что ты на меня смотришь, как удав на кролика. Или кролик на удава? Как это правильно говорится по-вашему, по-ученому?

Кононенко сидел на табуретке перед койкой Голубева и крошил бумажку-ксиву своими жесткими крупными пальцами, рассыпая крошки по одеялу Голубева.

— Нет, не встречал, — прохрипел Голубев, бледнея.

— Ну вот и хорошо, что не встречал, — сказал Кононенко, снимая полотенце с гвоздя, вбитого в стену над койкой, и встряхивая полотенцем перед лицом Голубева. — Я еще вчера собрался удавить вот этого «доктора», — он кивнул на Подосенова, и на лице того изобразился безмерный ужас. — Ведь что подлец делает, — весело говорил Кононенко, указывая полотенцем в сторону Подосенова. — В мочу — вон баночка стоит под койкой — подбалтывает собственную кровь... Оцарапает палец и каплю крови добавляет в мочу. Грамотный. Не хуже докторов. Заключение лабораторный анализ — в моче кровь. Наш «доктор» остается. Ну скажи, достоин такой человек жить на свете или нет?

— Не знаю.

— Не знаешь? Знаешь. А вчера — тебя принесли. Ты со мной на пересылке был, не так ли? До моего тогдашнего суда. Тогда я шел как Кононенко.

— В глаза я тебя не видал, — сказал Голубев.

— Нет, видал. Вот я и решил. Чем «доктора» — тебя сделаю начисто. Чем он виноват? — Кононенко показал на бледное лицо Подосенова, к которому медленно-медленно приливалась, возвращаясь обратно, кровь. — Чем он виноват? Он свою жизнь спасает. Как ты или, например, я...

Кононенко ходил по палате, пересыпая с ладони на ладонь бумажные крошки полученной записки.

— И «сделал» бы тебя, отправил бы на луну, и рука бы не дрогнула. Да вот фельдшер ксиву принес, понимаешь... Мне надо отсюда быстро выбираться. Суки наших режут на прииске. Всех воров, что в больнице, вызвали «на помощь». Ты жизни такой не знаешь... Ты, фраерюга!

Голубев молчал. Он знал эту жизнь. Как «фраер», конечно, со стороны.

После обеда Кононенко выписали, и он ушел из жизни Голубева навсегда.

Пока третья койка пустовала, Подосенов успел перебраться на край койки Голубева, уселся ему в ноги и зашептал:

— Казаков обязательно нас удавит, обоих. Надо сказать начальству.

— Пошел ты к такой-то матери, — сказал Голубев.

Припадок

Качнулась стена, и горло мне захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтоб схватить эту надоевшую спичку, и спичка исчезла — я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня вовсе; там, на бульваре, был еще голос, отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо, возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно; кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам.

Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Всё стихло, и я остался один на

один с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался, и страшная лупа следила за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром — это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно.

Голова болела и кружилась при малейшем движении, и нельзя было думать — можно было только вспоминать, и давние пугающие картины стали являться, как кадры немого кино, двухцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на Севере, после шестимесячной работы без отдыха, впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать, лежать, не чинить одежды, не двигаться... Но всех подняли с утра и погнали за дровами. В восьми километрах от поселка шла лесозаготовка — нужно было выбрать бревно по силе и отнести домой. Я решил идти в сторону — там, километрах в двух, были старые штабеля, там можно было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля, легких бревен там не оказалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь были тонкие бревна, но концы их были зажаты штабелем, и у меня не хватало сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул, наконец, одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфом, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Бревно застревало в кустах стланика или втыкалось в снег, и я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда увидел, что уже стемнело. Я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к «зоне» была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота, и я очнулся в будке лебедчика — тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом.

Всё это виделось мне сейчас на больничной стене.

Но вместо лебедчика руку мою держал врач. Аппарат Рива-Роччи для измерения кровяного давления стоял здесь же. И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался.

— Где я?

— В институте неврологии.

Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.

Бизнесмен

Ручкиных в больнице много. Ручкин — это кличка-примета: повреждена, значит, рука, а не выбиты зубы. Какой Ручкин? Грек? Длинный, из седьмой палаты? Это — Коля Ручкин, бизнесмен.

Правая кисть Колиной руки отстрелена взрывом. Коля — самострел-членовредитель. В медицинских отчетах самострелов числят по графе саморубов. В больницу их класть запрещено, если нет высокой «септической» температуры. У Коли Ручкина была такая температура. Два месяца Коля боролся с заживлением раны, но молодые годы взяли свое — Коле уже недолго быть в больнице. Пора возвращаться на прииск. Но Коля не боится — что ему, однорукому, золотые заботы? То время прошло, когда одноруких заставляли «топтать дорогу» для людей и тракторов на лесозаготовках полный рабочий день в глубоком рыхлом хрустальном снегу. Начальство боролось с самострелами как умело. Тогда арестанты стали рвать ноги, вставляя капсуль прямо в валенок и поджигая бикфордов шнур у собственного колена. После чего «топтать дорогу» одноруких не стали посылать. Заставят мыть золото лотком — одной рукой? Ну, летом можно будет сходить на денек. Если дождя не будет. И Коля улыбается во весь свой белозубый рот — его зубов цинга не успела прихватить. Вергеть цыгарку одной левой рукой Коля Ручкин уже научился. Почти сытый, отдохнувший в больнице Коля улыбается, улыбается. Он бизнесмен — Коля Ручкин. Он вечно что-то меняет, носит запрещенную селедку к поносникам, а от них приносит хлеб. Поносникам ведь тоже надо задержаться, притормозиться в больнице. Коля меняет суп на кашу, а кашу — на два супа, умеет «переполовинить» доверенную ему для обмена на табак пайку хлеба. Это ему дали лежачие больные — опухшие цинготники, получившие тяжелые переломы, — из палат травматических болезней, или, как выговаривал фельдшер Павел Павлович, «дра-

матических болезней», не подозревая горькой иронии своей обмолвки. Счастье Коли Ручкина началось с того дня, когда ему «отстрелило» руку. Почти сыт, почти в тепле. А матюги начальства, угрозы врачей — всё это Коля считает пустяками. Да это и есть пустяки.

Несколько раз за эти два блаженных месяца, что Коля Ручкин в больнице, случались странные и страшные вещи. Рука, оторванная взрывом, несуществующая кисть болела так, как раньше. Коля чувствовал ее всю: пальцы кисти согнуты, сложены в то самое положение, в котором кисть застыла на прииске — по черенку лопаты или рукоятке кайла, не больше и не меньше. Ложку такой рукой трудно было держать, но ложка и не была нужна на прииске — всё съедобное можно было выпить «через борт» миски: суп и кашу, и кисель, и чай. В этих согнувшихся навеки пальцах пайку хлеба можно было удержать. Но Ручкин отрубил, отстрелил их к чёртовой матери. Так почему же он чувствует эти согнутые по-приисковому, отстреленные пальцы? Ведь левая его кисть начала месяц назад разгибаться, отгибаться, как ржавый шарнир, получивший снова чуточку смазки, и Ручкин плакал от радости. Он и сейчас, наваливаясь животом на свою левую ладонь, разгибает ее, свободно разгибает. А правая, оторванная — не разгибается. Всё это случалось чаще ночью. Ручкин холодел от страха, просыпался, плакал и не решался спросить об этом даже соседей — а вдруг это что-нибудь значит? Может быть, он сходит с ума?

Боль в отрезанной кисти возникала всё реже и реже, мир становился нормальным. Ручкин радовался своему счастью. И улыбался, улыбался, вспоминая, как ловко у него всё это получилось.

Вышел из «кабинки» фельдшер Павел Павлович, держа в руках незакуренную махорочную сигарку, и сел рядом с Ручкиным.

— Огоньку, Павел Павлович? — стибается перед фельдшером Ручкин. — Один момент!

Ручкин бросается к печке, открывает дверку, левой рукой скидывает на пол несколько мелких горящих углей. Ловко подбросив тлеющий уголек, Ручкин ловит его в свою ладонь и, перекатывая уголек по ладони, подносит «огня» фельдшеру. Ручкин поднимает уже почерневший, но еще сохранивший пламя уголек, отчаянно раздувает его, чтоб огонь не погас, подносит прямо к лицу чуть наклонившегося фельдшера. Фельдшер с силой всасывает воздух, держа во рту сигарку, и, наконец, прику-

ривает. Ключья синего дыма всплывают над головой фельдшера. Ноздри Ручкина раздуваются. В палатах просыпаются от этого запаха больные и безнадежно втягивают дым — не дым, а тень, бегущую от дыма...

Всем ясно, что покурить будет оставлено Ручкину. А Ручкин соображает: он сам затянется раза два, а потом отнесет в хирургическое, фраеру с перебитой спиной. Там Ручкина ждет обеденная паечка — не шутка. А если Павел Павлович оставит побольше, то из «бычка» возникнет новая папироса, которая будет стоить побольше паечки.

— Скоро уж тебе ехать, Ручкин, — не спеша говорит Павел Павлович. — Покантовался ты тут порядочно, припухал на совесть, дело прошлое... Расскажи, как это ты дерзнул? Может, будет что детям рассказать. Если свижусь с ними.

— Да я и не скрываю, Павел Павлович, — говорит Ручкин, а сам соображает. Папиросу, видно, Павел Павлович слабо завернул. Ишь, как вдохнет, втянет дым, так огонь движется и бумага обгорает. Не тлеет сигарка фельдшерская, а горит, как бикфордов шнур. Как бикфордов шнур. Значит, надо рассказывать покороче.

— Ну?

— Утром я встаю, пайку получаю — в курок ее, за пазуху. У нас на целый день пайки давали. Иду к Мишке-взрывнику. «— Ну, как?» — говорю. «— Есть». Отдаю ему всю пайку-восьмисотку и получаю за нее капсуль и кусок шнура. Иду к землякам, в свой барак. Они мне не земляки, а просто так говорится. Федя и какой-то Петро. «— Готово?» — спрашиваю. «— Готово», — говорят. «— Давайте сюда». Отдают они мне свои пайки. Я две пайки в курок, за пазуху, и топаем мы на работу. На производстве, пока наша бригада инструмент получала, берем головешку из печки, отходим за отвал. Встали теснее, все трое за капсуль держимся — каждый своей правой рукой. Подожгли шнур, чик — и полетели пальцы в сторону. Бригадир кричит: «— Что же вы делаете?» Старший конвоя: «— Марш в лагерь, в санчасть!» Перевязали нас в санчасть. А потом земляков угнали куда-то, а у меня — температура, и я в больницу попал.

Папиросу Павел Павлович почти докурил, но Ручкин увлекся рассказом и чуть не забыл о папиросе.

— А паечки, паечки-то, что у тебя остались, — съел?

— А как же! Сразу после перевязки и съел. Земляки мои подходили: «Отломи кусочек». — «Пошли вы, говорю, к чёртовой матери. Это моя коммерция».

Женщина блатного мира

Аглаю Демидову привезли в больницу с фальшивыми документами. Не то, чтоб было подделано ее «личное дело», ее арестантский паспорт. Нет, с этой стороны было всё в порядке; только у «личного дела» была новая желтая обложка — свидетельство того, что срок наказания Аглаи Демидовой был начат снова и недавно. Она приехала, называясь тем самым именем, под каким и два года назад ее привозили в больницу. Ничего не изменилось из ее «установочных данных», кроме срока — двадцать пять лет. А два года назад папка ее личного дела была синего цвета, и срок был — десять лет.

К нескольким двузначным цифрам, выставленным чернилами в графе «статья», добавилась еще одна цифра — трехзначная. Но всё это было самое настоящее, неподдельное. Подделаны были ее медицинские документы — косая история болезни, эпикриз, лабораторные анализы. Подделаны людьми, занимавшими вполне официальное положение и имевшими в своих руках и штампы, и печати, и свое доброе или недоброе — это всё равно — имя. Много часов понадобилось начальнику санчасти прииска, чтобы выклеить фальшивую историю болезни, чтобы сочинить липовый медицинский документ с подлинным артистическим вдохновением.

Диагноз туберкулеза легких являлся как бы логическим следствием хитроумных ежедневных записей. Толстая пачка температурных листов с диаграммами типичных туберкулезных кривых, заполненные бланки невозможных лабораторных анализов с угрожающими показателями. Такая работа для врача подобна письменному экзамену, где по билету требуется описать туберкулезный процесс, развившийся в организме до степени, когда срочная госпитализация больного — единственный выход.

Такую работу можно проделать и из спортивного чувства — суметь доказать центральной больнице, что и на приiske — не лыком шиты. Просто приятно вспомнить всё по порядку, что ты учил когда-то в институте. Ты, конечно, никогда не думал, что свои знания тебе придется применить столь необычайным «художественным» образом.

Самое главное: Демидова должна быть положена в больницу во что бы то ни стало. И больница не может, не вправе отказать в приеме такой больной, пусть у врачей явится хоть тысяча подозрений.

Подозрения возникли сразу же, и пока вопрос о приеме Демидовой решался в местных «высших сферах», сама она сидела одна в огромной комнате приемного покоя больницы. Впрочем, «одна» она была лишь в «честертоновском» значении этого слова. Фельдшер и санитары приемного покоя шли, очевидно, не в счет. И также не в счет шли два конвоира Демидовой, не отходившие от нее ни на шаг. Третий конвоир с бумагами скитался где-то в канцелярских дебрях больницы.

Демидова не сняла даже шапки и только расстегнула ворот овчинного полушубка. Она торопливо курила папиросу за папиросой, бросая окурки в деревянную плевательницу с опилками.

Она металась по приемному покою от венецианских зарешеченных железом окон к дверям, и, повторяя ее движения, за ней кидались ее конвоиры.

Когда вернулся дежурный врач вместе с третьим конвоиром, уже стемнело по-северному быстро и пришлось зажечь свет.

— Не кладут? — спросила Демидова конвоира.

— Нет, не кладут, — хмуро сказал тот.

— Я знала, что не положат. Это всё Крошка виновата. Запорола врачуху, а мне мстят.

— Никто тебе не мстит, — сказал врач.

— Я лучше знаю.

Демидова вышла впереди конвоиров, хлопнула выходная дверь, затрепал мотор грузовика.

Сейчас же отворилась неслышно внутренняя дверь, и в приемный покой вошел начальник больницы с целой свитой из офицеров спецчасти.

— А где она? Эта Демидова?

— Уже увезли, гражданин начальник.

— Жаль, жаль, что я ее не посмотрел. А всё вы, Петр Иванович, с вашими анекдотами... — и начальник со своими спутниками вышел из приемного покоя.

Начальнику хотелось взглянуть хоть одним глазком на знаменитую воровку Демидову, история ее и в самом деле не совсем обыкновенная.

Полгода назад воровку Аглаю Демидову, осужденную за убийство «нарядчицы» на десять лет (Демидова полотенцем ударила слишком бойкую нарядчицу), везли с суда на прииск. Конвоир был один, ибо в дороге ночевок не было — всего несколько часов езды на автомашине от поселка управления, где судили Демидову, до того прииска, где она работала. Пространство и время на Крайнем Севере — величины схожие. Часто пространство

мерят временем: так делают кочевые якуты, от сопки до сопки шесть переходов. Все, живущие около главной артерии — шоссе-сейной дороги, измеряют расстояние перегонами автомашины.

Конвоир Демидовой был из сверхсрочных молодых «стариков», давно привыкший к вольностям конвойной жизни, к ее особенностям, где конвоир — полный господин арестантских судей. Не в первый раз «сопровождал» он «бабу», всегда такая поездка сулила известные развлечения, какие не слишком часто выпадают на долю рядового «стрелка» на Севере.

В дорожной столовой все трое — конвоир, шофер и Демидова — пообедали. Конвоир для храбрости выпил спирту (на севере водку пьет только очень высокое начальство) и повел Демидову в кусты. Тальник, лозняк или молодая осина были в изобилии вокруг любого таежного поселка.

В кустах конвоир положил автомат на землю и подступил к Демидовой. Демидова вырвалась, схватила автомат и двумя перекрестными очередями всадила девять пуль в тело сластолюбивого конвоира. Забросив автомат в кусты, она вернулась к столовой и уехала на одной из проходящих мимо машин. Шофер поднял тревогу, труп конвоира и его автомат были найдены очень скоро, а сама Демидова задержана через двое суток в нескольких сотнях километров от места ее романа с конвоиром. Демидову снова судили, дали ей двадцать пять лет. Работать она не хотела и раньше, грабила своих соседей по бараку, и приисковое начальство решило любой ценой отделаться от блатарки. Была надежда, что после больницы ее не возвратят на прииск, а пошлют куда-нибудь в другое место.

Демидова была магазинной и квартирной воровкой, «городушницей» по терминологии «уркачей».

Блатной мир знает два разряда женщин: собственно воровок, чьей профессией являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проституток, подруг блатарей.

Первая группа значительно меньше численностью, чем вторая, и в кругу уркачей, считающих женщину существом низшего порядка, пользуется некоторым уважением — вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно сожигательница какого-либо вора (слово «вор», «воровка» всё время употребляется в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей) воровка нередко участвует в разработках планов краж, в самих кражах. Но в мужских «судах чести» она участия не принимает. Такие правила продиктовала сама жизнь — в местах заключения мужчины и женщины разобщены, и это обстоятельство внесло неко-

торое различие в быт, привычки и правила того или другого пола. Женщины всё же мягче, их «суды» не так кровавы, не так жестоки приговоры. Убийства, совершаемые женщинами-блатарками, более редки, чем на «мужской половине» блатного дома.

Вовсе исключено, что «воровка» может «жить» с каким-либо «ффраером».

Проститутки — вторая, бо́льшая группа женщин, связанная с блатным миром. Это известные подружки воров, добывающие для них средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах, и в «наводках», и в «стрёме», и в укрывательстве, и в сбыте краденого, но полноправными членами «преступного мира» они вовсе не являются. Они — неперенные участницы кутежей, но и мечтать не могут о «правилках».

Потомственный «урка» с детских лет учится презрению к женщине. «Теоретические», «педагогические» занятия чередуются с наглядными примерами старших. Существо низшее — женщина создана лишь затем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь «гуляет». Живая вещь, которую блатарь берет во временное пользование.

Послать свою подругу-проститутку в постель начальника, если это нужно для пользы дела, — обычный, всеми одобряемый «подход». Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на эти темы всегда крайне циничны, предельно лаконичны и выразительны. Время дорого.

Воровская этика сводит на нет и ревность, и «черемуху». По освященному стариной обычаю вору-вожаку, наиболее «авторитетному» в данной воровской компании, принадлежит выбор своей временной жены — лучшей проститутки.

И если вчера, до появления этого нового вожака, эта проститутка спала с другим воров, считалась его собственной вещью, которую он мог одолжить товарищам, то сегодня все эти права переходят к новому хозяину. Если завтра он будет арестован, проститутка снова вернется к прежнему своему дружку. А если и тот будет арестован, ей укажут, кто будет новым ее владельцем. Владелец ее жизни и смерти, ее судьбы, ее денег, ее поступков, ее тела.

Где же тут жить такому чувству, как ревность?.. Ему просто нет места в этике блатарей.

Вор, говорят, человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Возможно, что бывает жаль уступить свою подругу, но закон есть закон, и блюстители «идейной» чистоты, блюстители чисто-

ты блатных нравов (без всяких кавычек) укажут немедленно на ошибку возревновавшего вора. И он подчинится закону.

Бывают случаи, когда дикий нрав и истеричность, свойственная почти всем уркачам, толкает блатаря на защиту «своей бабы». Тогда этот вопрос уже становится суждением «правилки», и блатные «прокуроры» требуют наказания виновного, взывая к авторитету тысячелетних установлений.

Обычно же до ссоры дело не доходит, и проститутка покорно спит с новым ее хозяином.

Никакого дележа женщин, никакой любви «втроем» в блатном мире не существует.

В лагере мужчины и женщины разобщены. Однако в местах заключения есть больницы, пересылки, амбулатории, клубы, где мужчины и женщины всё же видят и слышат друг друга.

Изобретательности же заключенных, их энергии в достижении поставленной цели можно поражаться. Удивительно, какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож — орудие убийства или самоубийства. Внимание надзирателей всегда слабее внимания заключенного — это мы знаем от Стендаля, который в «Пармской обители» говорит: «Тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о побеге».

В лагере огромна энергия блатаря, направленная на свидание с какой-нибудь проституткой.

Важно найти место, куда эта проститутка должна прийти, а в том, что она придет, блатарь никогда не сомневается. Карающая рука настигнет виновную. И вот она переодевается в мужское платье, спит вне программы с надзирателем или нарядчиком, чтобы в назначенный час проскользнуть туда, где ее ждет вовсе ей незнакомый любовник. Любовь разыгрывается торопливо, как летнее цветение трав на Крайнем Севере. Проститутка пойдет назад в женскую зону, попадет на глаза надзирателя, ее посадят в карцер, приговорят к месячному заключению в изоляторе, отправят на штрафной прииск — всё это она перенесет безропотно и даже гордо: она выполняла свой проституточный долг.

В большой северной больнице для заключенных был случай, когда к видному блатарю, больному хирургического отделения, сумели привести проститутку на целую ночь на больничную койку, и там она спала по очереди со всеми восемью ворами, находившимися в то время в палате. Дежурному санитару из заключенных пригрозили ножом, дежурному вольнонаемному фельдшеру подарили костюм, сдернутый с кого-то в лагере; хозяин его опоз-

нал, подал заявление; усилий скрыть это дело было приложено очень много.

Девушка эта была отнюдь не расстроена, не смущена, когда ее обнаружили утром в палате мужской больницы.

— Ребята просили выручить их, я и пришла, — спокойно объяснила она.

Не трудно догадаться, что блатари и их подруги почти сплошь сифилитики, а о хронической гонорее даже и наш пенициллиновый век и говорить не приходится.

Известно классическое выражение: «сифилис не позор, а несчастье». Здесь сифилис не только не позор, но считается счастьем, а не несчастьем заключенного. Это еще один пример пресловутого «смещения масштабов».

Прежде всего, принудительное лечение венериков обязательно, и это знает каждый блатарь. Он знает, что «притормозится», что в глухое место он со своим сифилисом не попадет, а будет жить и лечиться в сравнительно благоустроенных поселках — там, где есть врачи-венерологи, специалисты. Всё это настолько хорошо рассчитано и угадано, что венериками себя заявляют даже те блатари, которых Бог миловал от четырех и трех крестов реакции Вассермана. И нетвердость отрицательного лабораторного ответа в этой реакции блатарям тоже отлично известна. Поддельные язвы, лживые жалобы — дело обычное наряду с истинными язвами и вескими жалобами.

Венерических больных, подлежащих лечению, собирают в особые зоны. Когда-то в таких зонах вовсе не работали, и это было самым подходящим «убежищем Монрепо» для блатарей. Позднее эти «зоны» устраивались на особых приисках или лесных командировках, где, кроме сальварсана и пайка питания, арестанты должны были работать по обычным нормам.

Но фактически никогда в таких зонах настоящего «спроса» работы не было, и жилось в этих зонах много легче, чем на обычном приiske.

Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые «женивы» блатарей, зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты. В отсутствие женщин они развращали и заражали мужчин — под угрозой ножа чаще всего, реже за «тряпки» (одежду) или за хлеб.

Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих «зоек», «манек», «дашек» и прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно

то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом, не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя.

Кормиться за счет проститутки не считается зазорным для вора — личное общение с вором проститутка должна ценить очень высоко. С другой стороны, сутенерство — одна из «заманчивых» деталей профессии, весьма нравящаяся мужской воровской молодежи.

Скоро, скоро нас осудят,
На Первомайский поведут,
Девки штатные увидят,
Передачу принесут, —

поется в тюремной песне. «Штатные девки» — это и есть проститутки.

Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе толкает женщину блатного мира на «незаконные» поступки.

Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать как «суку».

Проститутке такой поступок не будет вменен в грех.

В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека.

Тамара Цулукидзе, двадцатилетняя красавица-воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача, сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачевым — бравым тридцатилетним лейтенантом, красавцем-холостяком.

У Грачева была еще одна любовница в лагере, полька Лещевская, одна из знаменитых «артисток» лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не потребовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачев жил сразу с двумя «женами», склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими, и это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные проявления: каждый съестной подарок готовился Грачевым в двух экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал точно таким же образом — и Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно

одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки.

Это выглядело весьма трогательно. Притом Грачев был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе (они жили в одном бараке) были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали, и когда внезапно Тамара была приглашена держать ответ перед большими ворами, Лещевская втайне злорадствовала.

Однажды Тамара заболела — лежала в больнице, в женской палате. Ночью двери палаты отворились, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку.

Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить «волю пославшего».

Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тбилисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменял Сенька Гундосый. В его объятия и должна была незамедлительно проследовать Тамара.

Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы.

Попыток вернуть заблудшую дочь под блатные знамена было сделано не мало и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя — за человека с револьвером, а блатному миру она так и не досталась.

Синеглазая Настя Архарова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой и по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром.

Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще «на воле», существовало и в тюрьме, и в лагере — везде, где появлялись блатари.

Тут не было ничего таинственного — старший брат Насти был видным уральским «скокарем», и Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Настя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трехмесячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал ее

с блатным миром. Пока она была в своем городе, воры, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По «социальному» положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была и в качестве воровки отправилась в обычные дальние путешествия на казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощанье воровскую песенку: «Тобой завладеет кореш мой». С «корешом» (т. е. товарищем) Настя жила также недолго — того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически — какой-то вечно слюнявый, большой каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата, ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление.

В больнице Настя покорно являлась на «любовные» вызовы, часто сидела в карцере и много плакала — не то слезы у нее были слишком близко, не то слишком страшила ее собственная судьба, судьба двадцатидвухлетней девушки.

Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настинной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. «Это не в моей воле, — писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. — Меня не спасти. А если Вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера. Готовая для вас на всё Настя Архарова».

Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные, переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали всё ее тело. Только лицо, шея и руки до локтя были без «наколок». Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей — она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мирный, чем у Аглаи Демидовой, а то лежать бы конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это, как на забавное приключение, и считала, что золотые часы — не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, «этап» был многочисленный —

на скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся.

В моральном кодексе блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина — существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам — любая представительница другого, не блатного мира презирается блатарем. Изнасилование «хором» — не такая уж редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны; женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом: растление малолетних девочек — всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой.

В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-либо она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира.

Никакого товарищеского, дружеского чувства к «бабе» блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же мира быть не может — женский вопрос вынесен за ворота этической «зоны» блатарей.

Но есть одно-единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна-единственная женщина, которая не только ограждена от покушения на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром, женщина, которая стала предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений.

Эта женщина — мать вора.

Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура, достойная чистой любви, уважения и поклонения. Это — мать.

Культ матери при злом презрении к женщине вообще — вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности это — сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птичке и способного через час эту птичку

живую разорвать собственными руками, ибо зрелище смерти живого существа — лучшее зрелище для блатаря.

Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овейного поэтической дымкой.

С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря «расписываться» ножом на трупе убитого ренегата или насиловать женщину публично, среди бела дня на глазах у всех, или растлевать трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину «зойку» — с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение.

На первый взгляд чувство вора к матери — как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах. Блатарь всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать — некий высокий идеал и в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет.

«Чтобы жить могли, работала мамаша. А я тихонько начал воровать. Ты будешь вор, такой, как твой папаша, — твердила мне, роняя слезы, мать».

Так поется в одной из классических песен уголовщины «Судьба».

Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор шадит ее в своем цинизме.

Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря.

Прославление матери — камуфляж, восхваление ее — средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности.

И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет с начала до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.

В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости.

Культ матери — это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир.

Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще, — фальшь и ложь.

Отношение к женщине — лакмусовая бумажка всякой этики.

Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще три десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом — в своем месте.

Воровке или подруге вора, женщине, прямым или косвенным образом вошедшей в «преступный мир», запрещаются какие бы то ни было «романы» с «фраерами». Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают, не «заделывают начисто». Нож слишком благородное оружие, чтобы применять его к женщине, — для нее достаточно палки или кочерги.

Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-вора с «вольной женщиной». Это — честь и доблесть, предмет хвастливых рассказов одного и тайной зависти многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг них обычно воздвигаются такие горы сказок, что уловить истину очень трудно. Машинистка превращается в прокуроршу, курьерша — в директора предприятия, продавщица — в министра. Небывальщина оттесняет истину куда-то вглубь сцены, в темноту, и разобраться в спектакле немудрено.

Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже покинутые блатными мужьями. Жены их с малыми детьми сражаются с жизнью, каждая на свой лад. Бывает, что мужья возвращаются из мест заключения к своим семьям, возвращаются обычно не надолго. «Дух бродяжий» влечет их к новым странствиям, да и местный уголовный розыск способствует быстрейшему отъезду блатаря. А в семьях остаются дети, для которых отцовская профессия не кажется чем-то ужасным, а вызывает жалость и, более того, желание пойти по отцовскому пути, как в песне «Судьба»:

В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.
Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца.

Потомственные воры — это и есть кадровое ядро преступного мира, его «вожди» и «идеологи».

От вопросов отцовства, воспитания детей блатарь неизменно далек — эти вопросы вовсе исключены из блатного Талмуда. Будущее дочерей (если они где-нибудь есть) представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза (даже в

блатарской специфичности) на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами, тоже представляется вору совершенно естественным.

Сергей Есенин и воровской мир

...Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Сергей Есенин

Ранней грязной уральской весной двигался пеший «этап». Шел 1929 год, последний год, когда в России был всего один концентрационный лагерь, единственный СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Открывалось четвертое отделение СЛОН'а на Северном Урале. Остров Соловки, Кемь, Ухта-Печора еще в прошлом году бросили туда своих «опытных» заключенных.

Еще всё было впереди — и фильм «Соловки», и Соловецкая расстрельная комиссия, и Соловки как символ произвола, где подвизался знаменитый «Курилка», где при отправке с участка на участок заключенные требовали, чтобы им завязывали руки за спиной и чтобы это необычайное условие перехода было записано в акте. Такова была самозащита арестантов от лаконичной формулы «убит при побеге» или «убит при попытке к бегству». Контролировали только количество выпущенных пуль: если выпущено две, значит, был предупредительный выстрел, и всё в порядке. Единственная выпущенная пуля как причина смерти считалась обвинением, достаточным для наложения мер взыскания, вплоть до... гауптвахты.

Всё было впереди — и фильм «Соловки», где на киноленту заснят председатель «разгрузочной комиссии» Иван Гаврилович Филиппов, старый путиловский токарь, затем начальник больших лагерей, замученный в Магаданской тюрьме в 1938 году. Как раз Филиппов был начальником того лагеря на Урале, куда шел этап. Всё было впереди. Еще вместо тысяч лагерей был только один-единственный лагерь — Соловецкий.

СЛОН был единственным тогдашним лагерем, но отнюдь не первым в послереволюционной России. Первый лагерь был открыт в 1924 году в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались матросы — участники Кронштадтского мятежа. Вернее, половина участников, точнее — четыре номера той страшной шеренги, в которую были построены все мятежники на Кронштадтском молу после подавления мятежа.

После расчета на «первый-второй», нечетные номера по команде шагнули на пять шагов вперед и были расстреляны.

Четные номера получили по десять лет и после тюремного заключения были посланы в Холмогоры. Матросы жили там плохо, производ был почище Соловецкого, и когда вести о нем дошли до Москвы, для ареста лагерных начальников была двинута целая воинская часть. Комендант лагеря, латыш Ойе, застрелился, остатки матросов разослали по ссылкам.

В 1925 году был на месте монастыря открыт концлагерь: уголовники, белогвардейцы и сектанты — вот три группы заключенных в этих первых лагерях.

Открытие четвертого отделения СЛОН'а, вскоре преобразованного в самостоятельный лагерь, было началом «лагерной эпохи», существовавшей без малого тридцать лет.

«Этап», который шел на север по уральским деревням, был этапом из книжек — так всё было похоже на читанное раньше у Короленко, у Толстого, у Фигнер, у Морозова...

Пьяные конвоиры, с безумными глазами раздающие подзатыльники и оплеухи, и поминутно — щелканье затворами винтовок... Сектант-федоровец, проклиная «драконов»; свежая солома на земляном полу сараев этапных изб; таинственные табуированные люди в инженерских фуражках, бесконечные проверки, переклички, счет, счет, счет...

Последняя ночь перед пешим этапом — ночь спасения. И, глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта:

Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Рты у всех были именно голубыми, а лица — черными. Рты у всех кривились — от боли, от многочисленных кровоточащих трещин.

Однажды, когда идти почему-то было легче, или перегон был короче, чем другие, — настолько, что все засветло расположились на ночевку, отдохнули, — в углу, где лежали воры, слышалось негромкое пение, скорее речитатив с самодельной мелодией:

Ты меня не любишь, не жалеешь...

Вор допел романс, собравши много слушателей, и важно сказал:

— Запрещенное.

— Это — Есенин, — сказал кто-то.

— Пусть будет Есенин, — сказал певец.

Уже в это время — всего через три с лишним года после смерти поэта — популярность его в блатных кругах была очень велика. Это был единственный поэт, «принятый» и «освященный» блатными, которые вовсе не жалуют стихов.

Позднее блатные сделали его «классиком» — отзываться о нем с уважением стало хорошим тоном среди воров.

С такими стихотворениями, как «Сыпь, гармоника», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», знаком каждый грамотный блатарь. «Письмо к матери» известно очень хорошо. «Персидские мотивы», поэмы, ранние стихи — вовсе неизвестны.

Чем же Есенин близок душе блатаря?

Прежде всего, откровенная симпатия к блатному миру проходит через все стихи Есенина. Неоднократно высказанная прямо и ясно. Мы хорошо помним:

Всё живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Блатари эти стихи тоже хорошо помнят. Так же, как и более ранние (1915) — «В том краю, где желтая крапива...» и многие, многие другие стихотворения.

Но дело не только в прямых высказываниях. Дело не только в строках «Черного человека», где Есенин дает себе чисто блатарскую самооценку:

Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Настроение, отношение, тон целого ряда стихотворений Есенина близки блатному миру.

Какие же родственные нотки слышат блатари в есенинской поэзии?

Прежде всего, это нотки тоски, все, вызывающее жалость, все, что роднится с «тюремной сентиментальностью».

И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Стихи о собаке, о лисице, о коровах и лошадях понимаются блатарями, как слово человека, жестокого к человеку и нежного к животным.

Но... блатари могут приласкать собаку и тут же ее разорвать живую на куски — у них моральных барьеров нет, а любознательность их велика, особенно в вопросе «выживет или не выживет»? Начав еще в детстве с наблюдений над оборванными крыльями пойманной бабочки и над птичкой с выколотыми глазами, блатарь, повзрослев, выкалывает глаза человеку из того же чистого интереса, что и в детстве.

И за стихами Есенина о животных им чудится родственная им душа. Они не воспринимают этих стихов с трагической серьезностью. Им это кажется ловкой рифмованной декларацией.

Нотки вызова, протеста, обреченности — все эти элементы есенинской поэзии чутко воспринимаются блатарями. Им не нужны какие-нибудь «Кобыльи корабли» или «Пантократор». Блатари — реалисты. В стихах Есенина они многого не понимают и непонятное отвергают. Наиболее же простые стихи цикла «Москвы кабацкой» воспринимаются ими, как ощущение, синхронное их душе, их подземному быту с проститутками, с мрачными подпольными кутежами.

Пьянство, кутежи, воспевание разврата — всё это находит отклик в воровской душе.

Они проходят мимо есенинской пейзажной лирики, мимо стихов о России — это ни капли не интересует блатарей.

В стихах же, которые им известны и по-своему дороги, они делают смелые купюры. Так, в стихах «Сыпь, гармоника» отрезана ими последняя строфа из-за слов:

Дорогая, я плачу,
Прости, прости...

Матерщина, вмонтированная Есениным в стихи, вызывает всегдашнее восхищение. Еще бы. Ведь речь любого блатаря уснащена самой сложной, самой многоэтажной, самой совершенной матерной руганью. Это — лексикон, быт.

И вот перед ними поэт, который не забывает эту «важную для них» сторону дела.

Поэтизация хулиганства тоже способствует популярности Есенина среди воров, хотя, казалось бы, с этой стороны он в воровской среде не должен был иметь сочувствия. Ведь воры стремятся в глазах «фраеров» резко отделить себя от хулиганов, они и в самом деле — явление вовсе иное, чем хулиганы, неизмеримо более опасное. Однако в глазах «простого человека» хулиган еще страшнее вора.

Есенинское хулиганство, прославленное стихами, воспринимается ворами, как происшествие их «шалмана», их подземной гулянки, бесшабашного и мрачного кутежа.

Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Каждое стихотворение «Москвы кабацкой» имеет нотки, отрывающиеся в душе блатаря; что им до глубокой человечности, до светлой лирики существа есенинских стихов.

Им нужно достать оттуда иные, созвучные им строчки. А эти строчки есть, тон этот обиженного на мир, оскорбленного миром человека есть у Есенина.

Есть и еще одна сторона есенинской поэзии, которая сближает его с понятиями, царящими в блатарском мире, с кодексом этого мира.

Дело идет об отношении к женщине. К женщине блатарь относится с презрением, считая ее низшим существом. Женщина не заслуживает ничего лучшего, кроме издевательств, грубых шуток, побоев.

Блатарь вовсе не думает о детях; в его морали нет таких обязательств, нет понятий, связывающих его с «потомками».

Кем будет его дочь? Проституткой? Воровкой? Кем будет его сын? Блатарю решительно всё равно. Да разве по «закону» не обязан вор уступить свою подругу более «авторитетному» товарищу?

Но я детей по свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому.

И здесь нравственные принципы поэта вполне соответствуют тем правилам и вкусам, которые освящены воровскими традициями, бытом.

Пей, выдра, пей!

Есенинские стихи о пьяных проститутках блатные знают наизусть и давно взяли их «на вооружение». Точно так же «Есть одна хорошая песня у соловушки...» и «Ты меня не любишь, не жалеешь...» с самодельной мелодией включены в золотой фонд уголовного «фольклора», так же как:

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

«Больничная» койка воровскими певцами заменяется «тюремной».

Культ матери, наряду с грубо циничным и презрительным отношением к женщине-жене, — характерная примета воровского быта.

И в этом отношении поэзия Есенина чрезвычайно тонко воспроизводит понятия блатного мира.

Мать для блатаря — предмет sentimentalного умиления, его «святая святых». Это тоже входит в правила хорошего поведения вора, в его «духовные» традиции. Совмещенное с хамством к женщине вообще слащаво-sentimentальное отношение к матери выглядит фальшивым и лживым. Однако культ матери — официальная идеология блатарей.

Первое «Письмо к матери» («Ты жива еще, моя старушка?..») знает буквально каждый блатарь. Этот стих — блатная «Птичка Божия».

Да и все другие есенинские стихотворения о матери, хоть и не могут сравниться в популярности своей с «Письмом», всё же известны и одобрены.

Настроения поэзии Есенина в некоторой своей части с удивительно угаданной верностью совпадают с понятиями блатного мира. Именно этим и объясняется большая, особая популярность поэта среди воров.

Стремясь как-то подчеркнуть свою близость к Есенину, как-то продемонстрировать всему миру свою связь со стихами поэта, блатари, со свойственной им театральностью, татуируют свои тела

часто перевернутыми цитатами из Есенина. Наиболее популярные строки, встречавшиеся у весьма многих молодых блатарей посреди разных сексуальных картинок, карт и кладбищенских надгробий:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

Или:

Коль гореть — так уж гореть сгорая,
Кто сторел, того не подожжешь.

Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Думается, что ни одного поэта мира не пропагандировали еще подобным образом.

Этой своеобразной чести удостоился только Есенин, «признанный» блатным миром.

Признание — это процесс. От беглой заинтересованности при первом знакомстве до включения стихов Есенина в обязательную «библиотеку молодого блатаря» с одобрения всех главарей подземного мира прошло два-три десятка лет. Это были те самые годы, когда Есенин не издавался или издавался мало («Москва кабацкая» и до сих пор не издается). Тем больше доверия и интереса вызывал поэт у блатарей.

Блатной мир не любит стихов. Поэзии нечего делать в этом мрачном мире. Есенин — исключение. Примечательно, что его биография, его самоубийство вовсе не играли никакой роли в его успехе здесь.

Самоубийств профессиональные уголовники не знают, процент самоубийств среди них равен нулю. Трагическую смерть Есенина наиболее грамотные воры объясняли тем, что поэт все-таки не был полностью вором, был вроде «порчака», «порченого фраера», от которого, дескать, можно всего ждать.

Но, конечно, — и это скажет каждый блатарь, грамотный и неграмотный, — в Есенине была «капля жульнической крови».

В последний раз в именье родовом

(Дочь губернатора!
С чего бы ей? А — вот...

— «В последний раз, и на беду — безлунье.
И дерево бормочет, как колдунья».)

Идет отсчет пророчеств и проклятий,
Привычный надоедливый отсчет...

(— «И ветки распростерлись, как распятыя.
Не всё ль равно — тюрьма иль эшафот?»)

А для чего? Зачем итти на крест?
Зачем тебе — в огне, в крови, в железе —
Унылый мир, где каждый чист и Крез
И все поэты пижут «Марсельезы»?!

И то сказать: на взвинченном пути,
Где весь словарь улегся в слово: «порох», —
Есть авторы листовок. Есть статьи.
Но нет поэтов. И не жди их скоро.

И горько знать, но, если бы не казнь,
И если б старость — в охах, вздохах, склоках —
Ты только и сумела б, что проклясть
Паденье нравов и ненужность Блока.

Идет отсчет. И цель, как смерть: проста.
И далеко. И не дожить до Блока.
И, стало быть, такая есть дорога;

См. предыдущие стихотворения и биографические данные о поэте в «Гранях» № 76. Публикуемые в этом номере произведения получены редакцией из России. — Р е д.

Есть путь такой: поверить в смерть, как в Бога,
И так же: до конца и до креста.

Но ты прелестна. Только в этом суть.
Ты — женщина. И правда только в этом.
И надо жить. Жить и сберечь красу
Куда трудней, чем игры с пистолетом.

За что ж — тебе? За тяжкие грехи?
За что твою прославят душу живу?
Не светлые и робкие стихи,
А боговдохновенные призывы?

И сколько надо Церквей на крови,
Чтобы понять, отбросив прочь химеры,
Что смертоносна вера без любви,
Как не спасает и любовь без веры.

...Запущены, подобно колесу,
Необратимо: «выстрел...», «порох...», «бомбы...»
Идет к концу намеченный отсчет.
А ты красива. Только в этом суть.
И ты себя готовишь к гекатомбам.
И всё равно: тюрьма иль эшафот.

...В последний раз — безлунный час Вселенной.
И дерево бормочет. Зябнет пруд.
Они чисты. Они чужды измены.
Они просты. Они аборигены.
Они утешат. Если не спасут.
Доверься им...

...Но зов предельно весок.
И пахнет смертью. Всюду гарь и тлен.
Горят глаза у бесов и балбесов,
Решительных — до первых перемен.

И с динамитом — к равенствам и братствам.
И всё как было: только смертью смерть.
И нет пути. И вытерпеть пилатство,
И святотатство — если не стерпеть.
И не уйти.

И мир пропитан тленом,
И нет пути. Идет к концу отсчет...

Но лучше — так: пока не на коленях,
И всё равно — тюрьма иль эшафот.
И лучше — так. Пока не победили,
Пока к присяге не пришли умы,
Пока твой друг, мечтающий о крыльях,
Не бьется над созданием Колымы.

Пока поэтов не ведут к причастью.
Пока ни вздохов старческих, ни склок.
Пока стихов еще не пишет Блок,
И не замучить вам его, по счастью.
Пока у «Марсельезы» чистый звук.
Пока твои друзья честны и чисты.
Пока твой друг — не маршал, не министр.
И твой палач — не твой вчерашний друг.

... А время каменеет. И у фраз
Нет свойства передать из давней дали,
Что люди жили, мучались, страдали
И не свершали действия напоказ.

Нет горечи и боли у речей.
Я думаю, что если б не картины,
Мы вряд ли ужасались гильотине
И братски полюбили б палачей.

А оттого, что смысла в слове нет,
А правда только в стоне, крике, кличе —
Поклонники заплечного величья
Плодят кумиры и куют венец.

Я, знаете ль, не против горных рек —
Свободная и гордая стихия —
Но мне Ока милее Енисея,
И в сущности я тихий человек.

Как лето ленью пахнет! Вот теперь
Забуть бы всё, перечеркнуть, как шутку!

Но нет пути. Стерпеть иль не терпеть —
Как выбор меж пилатством и кощунством.

Не вытерпеть — на злобе и неверье
Построить мир, где каждый чист и сыт.
А вытерпеть — за счет чужих обид,
Чужого крика и чужой потери.
Ах, слава Богу, мы не Робеспьеры.
Но почему должны терпеть мы стыд?
Не вытерпеть.

Пускай грядущий толк
Тебя хвалой или проклятьем метит.
Когда-нибудь родится мудрый волхв.
Он всё поймет — и не заплатит смертью.
А ты — заплатишь.

И грядущий суд,
Как всякий суд — неправых и несмелых —
Судить не вправе.

Завершен отсчет.

Ты — женщина. И только в этом суть.
(«— Дочь губернатора... Казалось бы!.. А — вот!»)

И ты прекрасна. Только в этом дело.
(«И всё равно: тюрьма иль эшафот...»)

Позднее кредо Иова

Я сам свой бог. Но слабый вздорный бог,
Издеганный, юродивый, убогий.
Не дай вам Бог любить такого бога
И быть, как он — не приведи вас Бог.

Я, верно, — бог. Порочный жалкий бог.
Но если я и вправду Лик Пречистый, —
То дай вам Бог быть мирным атеистом,
А богом быть — не приведи вас Бог.

Я, точно, — бог. Бессильный в толчее.
По логике смещения четких граней,
Музеи нынче обитают в храме,
А боги обитают в толчее.

Прости меня за манию величья,
Но Божьего величья нет в судьбе
Карать себя и отпускать себе
Грехи — прости меня за манию величья.

Но Божьего величия — карать —
Не пожелаю ближнему: не смею
Желать ему таких шахсей-вэхсеев.
Не дай вам Бог — до бога опускаться:
До отпущенья собственных грехов.

Я — это я. Бог — это только Бог.
Гордыня непомерная и горесть —
Не дай вам уповать на Божью совесть
И жить ей вопреки. Не приведи вас Бог!

Адам, я и капиташа

1

Взял ничто. Пустоту. Точку. Потому что еще ничего не было. И — из мысли действенной и упрямой, из мысли и из ничего в неизмеримой пустой синеве стали сгущаться еще неплотные — как клочья пара — колеблющиеся, неточные, мягкие контуры.

Как опал или перламутр — мутно переливались не рожденными еще красками. Сгустилось синее пятно и увенчалось неотчетливыми синеватыми коронками пальм.

А потом — сразу: взметнулись к небу гордыми султанами стройные кокосовые пальмы; бананы закачали широкими, мягкими, как перепонка утиной лапы, надорванными по краям листьями; из почвы брызнули, взвились фонтанами древовидные папоротники и — не опали как фонтаны, а остались темнеть, чуть вздрагивая четким силуэтом на новом чистом небе. Расплескали разноцветные пятна орхидеи. Опутали все, сплелись узловатыми сочленениями, втиснулись в самые маленькие просветы, повисли в воздухе застывшим корявым дождем лианы и воздушные корни. Пряные ароматы цветов, сырости и земли поползли, клубясь, как туман.

Из неясного, из точки, из мысли — из ничего — все стало проясняться, устанавливалось, плотнело, деревенело, — пока, наконец, не стало совсем неоспоримым, явственным: вещью.

Так стал рай.

А чтобы он был, — ведь кроме него, за ним и против него страшным несоответствием стояло бесформенное Ничто, — Творец стал пристегивать дни творения.

Плотный кусок, где рай, растянул и расправил, и к нему — сзади — прилепил все остальное круглое, что стало потом называться землей.

Носясь во времени вольно, как в пространстве, тоже сзади, в прошлое пристегнул недостающие дни творения, и тогда все стало законченным.

Мир стал жить.

Засияла совсем новая, только что отделенная от хаоса небесная твердь. Зашумели, расплескались неудержимые воды, и — сдвинулись им навстречу, установившись раз навсегда, хмурые горы.

Зашевелили тяжелыми хвостами, вспенили море сумрачные первобытные рыбы; огромные неповоротливые ящеры стали выползать из необозримых болот — греть на новом солнце чешуйчатые хвостатые тела. Зажужжали, летая между цветами, насекомые, и многоцветные птицы стали со свистом кружиться в свежем воздухе. Рев разнообразных обросших новенькой, только что сделанной, еще лоснящейся шерстью зверей запутался между стволов и раскатился по новым ярким полянам.

Так стал жить мир.

Но чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь мог почувствовать его, выпитывать его красоту или его безобразие, черпнуть от его счастья или от его муки, чтобы хоть кто-нибудь мог его увидеть, ощупать и оценить, — Творец сам спустился на мягкий, еще покорный, податливый комочек, на новую свежую траву, на пестрый кусочек, которому потом придумали сладкое имя: рай.

Ему пришлось съежиться, уплотниться и, может быть, прикрыть неясную наготу новеньким, только что сделанным костюмом, нужно было подчиниться только что придуманным земным разным законам — земного притяжения, земного труда и земного пота, — чтобы выполнить то, чем он захотел увенчать пять своих трудных дней.

И вот на пригорке, покорный всему земному — потный, уставший и загоревший от молодого, по-молодому безжалостного солнца — он срывал верхний слой травы, рылся измаранными, в садилах пальцами дальше, отдирая тот слой, который как сеткой перепутал белесые травяные корни, чтобы дойти до буровато-красной рассыпчатой и лепкой глины.

Он не заметил, как щедрое солнце забиралось выше и выше, а когда он добрался до глины и отковырнул первейший ее кусок, — как оно стало прямо над головой. По глине легла короткая синеватая первая творческая тень, и сорвались с напряженного лба первые капли творческого пота.

Солнце легло к западу, и от трав скатились косые усталые тени, когда Творец откинулся и сел.

Покорное деревянное, вытянувшись, перед ним лежало тело. Нелепо торчали кверху ступни, на глиняной, полосами подсыхающей груди — полосами отметились крайние ребра.

Безвольные, как обрубки, не совсем еще отделенные от туловища, лежали руки. На одной из них — только три пальца были отделаны: большой, указательный и средний, остальные были только намечены. Другую оканчивал огромный, совсем бесформенный комок. На тяжело захлопнувших глаза веках, просыхая, сохранились следы мазков и следы лепивших пальцев.

Творец захотел перенести тело ближе к ручью, чтобы лучше омыть и лучше по мокрому оформить бессмысленные еще черты лица, но когда он попытался, просунув руку под спину, приподнять все тело целиком, глина на груди выгнулась горбом и — расплзлась, раскрыв зияющую поперек всего тела, совсем сырую внутри красную шероховатую глиняную трещину. Медленно закинувшись назад, отвалилась голова. Пришлось, оставаясь на месте, залеплять, заглаживать трещины мокрыми спешащими пальцами.

Только когда последний луч коснулся заостренного побелевшего, уже подсохшего глиняного носа, Творец кончил.

Он встал, посмотрел на последнее совершеннейшее творение и, опять став на колени и наклонившись, — уста к мертвым холодным устами, — вдохнул свое творческое дыхание.

Что-то заклокотало, переливаясь в глубине глиняной груди, искривились мертвые холодные губы и — вместе со свистом, с хрипом кашля и с первым тяжким вздохом, — тяжкое, клокочащее хриплое и неотчетливое вылетело слово:

— Адам!..

— Это ты — Адам!.. Живи!.. — сказал Творец.

И Адам стал жить.

2

Вечером, когда я возвращаюсь со своей работы, где я весь день честно занимаюсь тем, что приказывает мой патрон и мой шеф, я сам хочу указывать кому-нибудь — чем и как они должны заниматься. Как мой патрон и мой шеф, я тоже хочу одарить его судьбу, радовать его неожиданными повышениями, иногда —

огорчать выговорами и штрафами — словом, следить, как затейливо потечет подвластная мне чужая жизнь.

Но чтобы совсем, ну — совсем следить за такой чужой судьбой, чтобы суметь как следует воздать должное и — совсем как следует наказать, я должен уметь владеть не только жалованием, как мой патрон и мой шеф, а и другими, такими же простыми и такими же важными в человеческой жизни вещами. Я должен уметь владеть болезнями, любовью и печальями этой мною выбранной чужой судьбы и даже должен уметь поставить где надо нужную точку. Конец.

И вот, когда я вечером возвращаюсь домой и часто, пока моя картошка кипит на керосинке, — я расставляю на столе моих солдатиков.

Иногда — во власти военного беса — я посылаю неподвижные синеватые роты на верную смерть, в самую гущу неподвижного и безмолвного боя. Я знаю, что они безмолвно и неподвижно умрут, — лягут там, где я их поставил, — совсем как настоящие хорошие солдаты. Иногда я отправляю их на отдых: раскладываю их между чернильницей и лампой, — нужно же дать отдохнуть даже и оловянным солдатикам.

Можно сказать, что я — почти их сделал. Выписанные издалека, они прибыли ко мне штампованными плоскими вертикальными дощечками. Это я долгими вечерами, — летом, роняя на подстеленный, измазанный красками лист газеты случайные капли творческого пота, зимой, переступая под столом замерзающими ногами, — это я их сделал солдатиками: раскрасил их, одел их в новенькие щеголеватые формы, очеловечил телесным цветом их прежде бессмысленные сероватые лица и даже — черточками, длиной или цветом носа, шириной усов и разрезом глаз — отделил прежде похожих друг от друга.

Расписанные по ротам, эскадронам, батареям, полкам и дивизиям, в коробочках с соответствующими метками они лежат на самой верхней полке, над полкой с посудой и над книгами.

А когда я открываю первую коробочку, из нее выпадает — раньше шелестящей бумаги, в которую все завернуто, раньше ваты, раньше штабов, штандартов и трубачей, раньше всего — из коробочки выпадает Капиташа. Я так его называю потому, что он состоит в капитанском чине.

Он — из другой серии, случайных, неподходящих размеров, и был прислан ко мне только случайно, — из того дальнего, отку-

да присланы и пехота, и конница, и штабы, и генералы и — все, что прислано издалека.

Может быть, это я виноват, но у Капиташи одно плечо выше другого, вид довольно неуклюжий и — в сравнении с другими, которые всегда в коробочке завернуты в вату и бумагу, — вид довольно потрепанный.

Вынимая его, я даже иногда мысленно ему говорю: «Вот видишь, что значит выпасть из своей серии, быть ни к каким полкам не подходящим ни по размерам, ни по виду...»

И, вынимая, я ставлю Капитуашу немного в сторону, чтобы он не портил стройные ровные ряды. А ряды выстраиваю и выравниваю так, — без Капиташи.

Когда ряды выстроены — тусклые углы моей комнатки тают, стены раздвигаются, простая дешевая настольная лампа становится солнцем, стол — бескрайним желтым летним полем, а я — повелителем чужих судеб.

3

Солнце поднялось уже высоко, когда Адам раскрыл глаза. Творец сидел на пригорке и, подперев подбородок, счастливым взглядом смотрел на творение. Разбросанные вокруг, вчера вырванные и перевернутые куски земли подсохли, и трава на них закурчавилась. В медвяном праздничном воздухе тысячами роились насекомые. Посвистывая, шурша крыльями, проносились птицы.

Вытянутое тело тоже высохло и, побелев, выделялось из покрытого сотней следов Творца ложа. Высохли, затвердев, и некоторые следы. Другие, более глубокие, были еще наполнены водой, образуя блестящие на солнце бухты, острова и озера. По их воде, мелкой и теплой, быстрыми зигзагами уже скользили на тонких негнущихся ходулях какие-то жучки.

Потом что-то дрогнуло, заклокотало внутри, и — не сразу, а с хрипом кашля из раскрывшегося рта вылетело прежнее тяжелое клокочущее слово:

— Адам!..

— Встань и иди!.. — сказал Творец.

Покорное глиняное тело, не сводя с Творца преданных глаз, дрогнуло, согнулось и с усилием новых, поскрипывающих, не действующих еще сухожилий встало и, по-прежнему прижимая неподвижные локти, двинулось, ступая прямо перед собой.

— Стой!.. — едва успел крикнуть Творец, потому что глиняный Адам, ступая мерными шагами, не сгибаясь и не поворачиваясь, взмошел бы на пригорок, где Творец только что сидел, и смял бы его, если бы он его не остановил.

Опять зашевелилось, заклокотало что-то внутри, и с жадно и невпопад раскрывшихся скошенных пенных непривычных губ сорвалось прежнее непокорное слово:

— Адам!..

Но ресницы оставались совсем неподвижными.

— Я создал тебя... — сказал Творец, протягивая к Адаму руку. — Я вылепил тебя из ничего, из этой красной глины... Я вдохнул в тебя свое животворящее творческое дыхание: ты ходишь и дышишь... Но не только этим я хотел увенчать свои трудные дни... Я дам тебе самый сладкий и самый горький дар. Я дам тебе мысль. Она будет биться у тебя в груди, как пойманная птица, будет кипеть в тебе и kloкотать. Но чтобы ты не сломился под ее непомерной тяжестью, не выгорел бы без остатка внутри, — я дам тебе возможность выплеснуть ее нестерпимую часть, вынести кусочки ее за твои пределы, подарить искорку от ее пламени тому миру, над которым я так потрудился.

Я дам тебе слово.

Живи и, нарицая имена тварям, восхваляй Творца и творение!

Так Адам стал мыслить и говорить.

4

Чтобы понять жизнь, чтобы овладеть ее непрерывным и капризным потоком, люди вынули сердце из груди и, разделив его на двенадцать больших черточек и шестьдесят малых, поставили его на столик.

И вот — металлическое сердце на столике стало главным: стало тикать равномерно, неумолимо и безостановочно, распределяя по большим и малым промежуткам и — мысли, и — дела, и — сны, и — радости.

А настоящее горячее сердце, оказавшееся ненужным, лишним, второстепенным, обиженно затаилось в груди, стало скрытым и иногда несносным: ведь если его затаенные в груди дела, мысли, сны и радости пытались идти отдельно, не совпадая с равномерными черточками на плоском круге, и они, и скрытое сердце с ними — все признавалось иллюзией, миражем, фантастикой.

Жизнь, плавное течение которой хотели измерить, схватить и разделить, вдруг сразу — как подбитая неуклюжая птица по кочкам — заскакала по малым и большим черточкам, вдруг сразу вписавшись в металлический бесконечный и безысходный круг.

Капиташа знал, что у него оловянное сердце. Может быть, когда-то врач, выстукивая и выслушивая его, оторвался от волосяной груди и, серьезно поверх очков посмотрев, с некоторой вопросительностью сказал:

— Слушайте!.. Да ведь у вас оловянное сердце!..

А может быть, этого никогда и не было. Но, во всяком случае, Капиташа знал, что у него оловянное сердце, но, конечно, никому об этом не говорил.

Ему иногда даже казалось, что и оболочка у него оловянная. Бывало, ударится обо что-нибудь, ткнется — ну, синяк, а тело пружинит и возвращается назад. А у него — нет. Оболочка вдавливалась и обратно не выпрямлялась. Так и оставалось вмятое место. Конечно, потом изнутри, с великими усилиями, он всегда старался его выпрямить. Но все равно — след, вмятина оставались навсегда.

Прошлое у него такое и было: иссеченное и вмятое, хотя и выправлял он все по мере возможностей. Иссеченное всяко: и метафизическими ударами судьбы, и действительными, вполне явственными пулями и осколками.

Когда Капиташа впервые попал сюда из того дальнего далека, откуда пришли генералы, штабы, трубачи и стройные роты, и, может быть, откуда пришел и автор, — то желтое поле, которое он увидел, казалось ему бескрайным. Как волны, под ветром склонялись, кланялись, взмахивая полновесными колосьями кое-где — примятые, а кое-где — не примятые хлеба. В синем чистом небе поскрипывал, плавая, плещущий огненный шар. Всё — и поле, и колосья, и пыльные извивающиеся белесыми телами дороги, и плещущий шар — всё, всё — и даже его оловянная капитанская жизнь — всё раскрывалось перед ним чем-то огромным, неизмерным и бесконечным.

Ведь он тогда не знал, что нет никакого поля и нет никакого солнца, что есть только простой письменный стол, где кучей, в беспорядке навалены листы исписанной и неисписанной бумаги, где стоит забитая окурками пепельница и светит дешевая настольная лампа.

И даже высокие легкие облачка, которые он видел купающимися в теплом синем небе, могли быть паром от варящейся рядом на спиртовке картошки.

Тогда Капиташа ничего этого не знал. Он видел — как все — только свою собственную жизнь, и она представлялась ему бескрайней и ослепительной.

5

С Луизой мы встречаемся только по субботам вечером. Всю неделю она служит в аптекарском магазине, целый день рассыпая патентованные порошки по патентованным же, припечатанным облаткам. От облаток, или от порошков, неизвестно от чего, но на кончиках Луизиных пальцев остаются какие-то синевато-красные следы, и каждую субботу, встречаясь со мной вечером, она старается меня уверить, что их невозможно отмыть.

Я делаю вид, что очень интересуюсь синевато-красными неотмываемыми пятнами на кончиках ее пальцев, и делаю вид, что я строго, серьезно и недоверчиво расспрашиваю ее, отчего это так. Но потом наши лица разглаживаются, мы смеемся, потом и целуемся.

После этого мы идем обедать в ресторан «прификс», где иногда, на неделе, обедаю и я, но там бывают платные добавки, и вот, чтобы отпраздновать субботу, Луиза, боязливо на меня поглядывая, спрашивает:

— Милый... Сегодня — суббота... Я хочу лангусту... Как ты думаешь?.. — улыбка сползает с ее накрашенных губ, лоб деловито морщится, и все лицо застывает ожидательным и напряженным.

«Как ты думаешь» — относится не к лангусте, а к тем лишним франкам, которые за лангусту мне придется доплатить. Луиза отлично знает, что я в ее вкусы не вмешиваюсь, и если иногда заказывает себе то, что не выходит из рамок «прификса», она делает это без колебаний и без совещаний со мною, решительным и даже требовательным голосом.

А потом — каждую субботу вечером — мы приступаем к тому делу, которое на старинном, на условном языке называется любовью.

После пиршеств, после кофе с ромом, которое мы пьем не здесь, а — через улицу, в бистро напротив, после всего — немножко утомленные, раскрасневшиеся от выпитого, мы долго и очень серьезно обсуждаем, в какое синема мы сейчас отправимся.

Старинное сложное дело, которое называется любовью, требует некоторой свободной от занятий глубины душ, которую оно должно пронзить, всколыхнуть и взволновать, и — требует много времени. Если внутри наших душ, освобождая совсем для себя свободное место, поставить одно на другое, приставив к стенке, — как делают со стульями во время уборки, — порошки, облатки, патрона-шефа, помаду для губ, новое зеленое платье и черные — с распродажи — туфельки, и еще — поставить к стенке одно на другое: недавний футбольный матч, небольшую партию в беллотт, неожиданную победу бельгийского велосипедиста и матч бокса в Америке... Словом, — если приставить к стенке, поставив одно на другое все, что загромождает наши с Луизой души, — окажется, что там вовсе нет никакой совсем собственной глубины, которую могло бы пронзить и всколыхнуть старинное сложное, называемое любовью дело.

И — времени у нас тоже мало.

Поэтому — каждую субботу — мы должны идти в синема, чтобы там какая-нибудь Марлена Дитрих или еще кто-то отколыхали за нас свои глубины, за нас бы отстрадали и отлюбили, чтобы нам осталось только жадно и спеша смять простыньки в тусклом недорогом отеле и — так оставить их остывать.

Так жизнь, которая Капиташе иногда представляется бескрайним золотым полем, колосьями, синим небом и солнцем, — для нас воплощается по субботам в ресторан «прификс», в синема и — брошенные остывать на постеле смятые простыньки.

6

Только случайно, только урывками Адаму удавалось встречать странного водяного бронзового зверя.

Зверь и жил странно — не в лагуне, где роются в песке крабы, не в отороченной белесыми отмелями реке, где, точно бревна, качаясь на воде, отдыхают крокодилы. Странного зверя можно было увидеть только в спокойных бухточках, в дремлющих глубоко между холмами озерах, в тихих заводях, или — совсем случайно — в блестящих лужах, до того мелких и маленьких, что было совсем непонятно — как такой зверь там помещается?

Чтобы увидеть зверя, Адам вставал рано, до рассвета — надо было поймать тот момент, когда предрассветный ветерок, слабея, робея, не затихнет совсем и, вместе с ним, не затихнут маленькие слабенькие желатиновые волночки.

Раздвинув камыши, затаив дыхание, Адам застывал над темной, пахнувшей сыростью гладью. И вот оттуда, из неподвижной воды, из опрокинутых навзничь камышей, из предрассветного отраженного неба, снизу, пристально и недоверчиво глядел на него еще не названный, непохожий на всех остальных, странный бронзовый зверь.

Когда, наклоняясь, Адам приближался к поверхности — зверь вырастал из своей мелкой глубины, приближаясь к Адаму, и Адаму казалось, что зверь, как и он, разглядывает его любопытно и недоверчиво.

У зверя совсем не было шерсти. Его нос и голые уши были меньше, чем у других, известных Адаму зверей. Только вокруг головы развевались медные волосы. Голой была и широкая плоская грудь, и напряженная шея.

Утомленный непривычной неподвижностью и неудобной позой Адам, сопя, начинал бить себя в грудь. Странный водяной зверь всегда точно повторял движения его руки, и та его рука, которую Адам в воде видел, была точно такую же, как его собственная рука, которую он мог сейчас же потрогать.

Иногда не в силах дальше выдержать молчания и таинственности странного зверя недоумевающий и раздраженный Адам внезапно выкрикивал над гладкой водой свое собственное имя:

— Адам!..

Тогда происходило странное: зверь сразу распадался, размывался на множество отдельных разбегающихся полосок, расползался, как под пяткой на камне расползается давно высохший прошлогодний желтый лист.

Вода заводи становилась обыкновенной, чуть потревоженной водой. Беспокойные волночки, разбегаясь, спутывали между собой, сплетали и разбивали эти полоски, смывая образ странного зверя, и неизвестно, окрестные ли вершины или голос зверя из темных глубин — повторяли ослабевшее имя:

— Адам!..

После этого приходилось долго ожидать, пока успокоятся встревоженные волночки, и только тогда, когда прочно устанавливалось и небо, и опрокинутые камыши, Адам мог опять увидеть своего зверя.

Иногда раздраженный ожиданием и таинственностью зверя Адам, решившись на все, стиснув зубы, кидался в воду, чтобы схватить, наконец, зверя, вытащить его из воды, вырвать из него его собственный голос и его собственное движение.

Но недостижимый зверь всегда исчезал, мгновенно таял без малейшего следа, так что Адама встречали только брызги обыкновенной, чуть пахнувшей сыростью утренней воды. Из зарослей, шурша крыльями, взлетали испуганные утки. Неодобрительно качались камыши, но зверя не было.

Адам скоро узнал, что на все имена, какие бы он ни выкрикивал, водяной зверь отвечает тем же выкрикнутым именем; только — его голос доходит не сразу, звучит слабее, так, как если бы он доносился издалека. Долго Адам не мог решить, каким именем назвать зверя. И только перебрав все, он решил назвать его тем, которым Творец назвал свое лучшее, совершеннейшее, венчающее все остальные творение:

— Адам...

Так, в сладком саду, рядом с настоящим Адамом, Адаму непокорный, прячущийся в тихих заводях, раздражающий, таинственный и неуловимый, непохожий на всех остальных жил странный бронзовый зверь.

7

Иногда мне хочется достать Капиташе самочку. Хотя бы — Луизу. Что мне делать? Разве я не найду других в этом большом, в этом сумбурном городе? Хотя бы — Симонн, которая стучит на машинке в нашем бюро около окна. Симонн — вот уже в который раз — перекрашивает свои волосы, и я знаю, что для меня: так уж она на меня смотрит, когда в свободную минуту полирует свои ногти.

Иногда мне хочется дать Капиташе самочку, чтобы на нее он мог излить тот сноп сверкающей и радостной нежности, который ревниво и стыдливо сберегается в самой глубине, в самой глубокой щели одинокой мужской души.

Хотя бы Луизу. Ведь, может быть, — он примет ее за женщину и, может быть, — принесет к ее ногам всю смешанную ласку, которая накопилась за долгие пустые годы и жжет его изнутри: детскую ласку к матери, отроческую — к сестре, юношескую — к невесте, ласку к любовнице и — зрелую спокойную ласку к неразлучному другу — к жене. Ведь только в самочке могут ужитья без спора и — детство, и — юность, и — зрелые мужские годы, и — только в самочке могут ужитья мать, сестра, невеста, жена и друг.

И вот — я вижу Луизу, мою беленькую самочку, лежащую совсем голой на постели с тою немного насмешливой улыбкой, которая всегда одевает губы лежащих на постели совсем голых женщин.

А Капиташа, у которого одно плечо выше другого, деловито возится у нее на груди.

Но только — белые упругие, с розовыми опрятными сосками груди Луизы должны ему представляться холмами, а соски — тумбочками, на которые он мог бы сесть.

И вот — с одного бесстыдного холма на другой Капиташа перебегает, и даже кажется, что — как на снегу — остаются парные веревочки Капиташиних следов.

Весь вид у оловянного Капиташа озабоченный и нахохленный, и — нет и в помине никакой ласки и никакой нежности.

Насмешливо поблескивают глаза Луизы, а по губам извивается чуть наглая улыбка.

Как жаль, что среди оловянных солдатиков нет женщин. Как-нибудь не принадлежащих ни к каким полкам, выпавших из ряда. Я моментально выписал бы такую, аккуратно раскрашивал бы ее по ночам, чтобы подарить хоть какую-нибудь самочку Капиташе.

8

На карте земной шар был совершенно плоским. Внизу, у самой карты расстилалась Капиташина постель. И вот, когда вечером Капиташа собирался гасить лампу, — его оловянное тело начинало приспособляться к местному кроватному рельефу, который, к сожалению, не был плоским, как карта. Только когда все неудобства — неожиданные выпуклости и неожиданные впадины — легкими передвижениями тела были устранены, Капиташа мог отойти ко сну.

И вот — из темноватого угла, где висели галстуки, пальто и брюки, — бронзовый выступил Адам. На темном фоне черты его казались изваянными, и весь Адам был как статуя.

Нерешительно ударив себя в грудь кулаком, Адам с усилием, как когда-то, выговорил свое имя:

— Адам!..

Взгляд его обошел все четыре угла комнаты, потерялся на творческом столе и остановился около лампы.

Капиташа, лежавший на кровати, приподнялся, сел и вкрадчиво сказал:

— Вы не можете существовать, уважаемый господин Адам!.. Вы — фикция!.. Вы — изобретение коллективной мысли древних!.. Вы — легенда!..

Адам снова ударил себя в грудь кулаком и настойчиво повторил:

— Адам!..

Капиташа улыбнулся снисходительно, как улыбаются животным и очень маленьким детям.

— Я понимаю... Вы хотите утвердить ваше собственное бытие!.. Вы настаиваете на этом... И, может быть, мне кажется, — но как будто ваш неопределенный взгляд хочет сказать мне, что это — я, я — явственный, существующий Капиташа, я — ничто, химера, воображение!..

Капиташа откинулся к стенке, голова его легла, закрыв всю Южную Америку, а легкая неотчетливая тень начинающего просачиваться в окошечко раннего утреннего солнца упала в Тихий океан.

Адам опять обвел комнатку блуждающим растерянным взглядом и, вдруг протянув руку, указывая на Капиташу пальцем, — как и раньше — трудно выговорил:

— *Homunculus urbanicus vulgaris!*.. Живи!..

Возможно, только поэтому Капиташа стал жить.

Зимой солнцу приходилось приподниматься на цыпочки, чтобы заглянуть в окошечко через несдвигаемую стенку. Оно будило Капиташу около десяти, прошвыривая сквозь мутные, давно немые квадратики оконца свои розово-желтые кирпичи. Кирпичи ложились в угол, и от угла, со спящей Капиташинной головы ползли по стене, по полоскам и цветочкам обоев и — по расплющенной карте мира. Тогда Капиташа просыпался, закуривал и глядел на стенку.

Кирпич начинал с Южной Океании, обливал теплом уютных и податливых оливковых ласковых островных красавиц, полз через океан до Европы, а когда доходил до Персии — Капиташа кончал вторую папиросу.

По комнате клубами плыл пронизанный лучами коричнево-синеватый дымок, на двенадцати встречались стрелки будильника. Ночные часы, ночные часы сладкого вранья самому себе, ле-

жачие часы были исчерпаны до дна. Нужно было возвращаться в плоский, в холодный, никому и ничему не верящий мир: бегать за деньгами, разговаривать, болтаться в неприветливых, непринимающих и непонимающих выстроенных по ниточке рядах, ссориться и бороться.

9

...А вот с нею мы встречаемся каждый день, каждый день. Я поднимаюсь на свой седьмой этаж.

В самом низу ступеньки облицованы мрамором, а стены обшиты коричневым, под кожу штампованным картоном с затейными изогнутыми цветами. У каждой двери болтаются на толстых позолоченных шнурах позолоченные кисти.

Во втором этаже все это потихоньку кончается. Климат роскошный, тропический теряет свое пышное величие, свою пряную насыщенность.

Третий и четвертый этаж — полоса климатов умеренных. Никаких изогнутых цветов. Никаких мраморов. Никаких кистей. Серьезность и солидность. Растительность редет. Стены окрашены ровной, хотя не лишенной еще приятности краской. Коврик обрывается, как кончается, обрывается ручейком, глохнет в песках бывшая могучей полноводная река.

Чем выше — тем бесплодней, бедней и печальней становится лестница.

Пятый этаж — совсем на границе пустыни: огромные белые пятна песков и рассыпанные, как толченый перец по бумаге, — там и здесь — колючие стайки убогих кустарников. Дальше будет только пустыня, только песок.

Шестой этаж — оазис, совсем другая жизнь. Из полутемных коридоров уже несет родным духом — луковым супом, жареным мясом, иногда и чесноком, и капустой. Граница между миром и собой перейдена.

А дальше — буду Я!..

Из сферы притяжения его, бывшего внизу огромным и шумным мира, я незаметно перехожу в сферу притяжения, пока еще безмолвного, но теперь летящего мне навстречу, каждый миг безмерно, как притягивающая планета, увеличивающегося моего звонкого имени:

— Я!..

Оно звучит громче и громче в окружающей меня неизмеримой космической пустоте, и вот — к нему в пустоте я мчусь, лечу, переворачиваясь кубарем, размахивая ненужными руками и ногами.

Шестой этаж. Вправо и влево расселились таборами знакомые и дружественные племена: механик Гастон с женой Одеттой и двумя детьми, мадам Дюран со своей собакой, мадам Понсе со своей кошкой, одним словом, — многие оседлые дружеские племена.

Теперь — только лесенка с перилами, напоминающая парходный капитанский мостик, отделяет меня от климатов моего седьмого этажа.

Так я поднимаюсь.

И вот — мы встречаемся каждый день, каждый день.

Но там, внизу, моя рука обнимает только пустое пространство. За моей спиной, на ступеньку ниже, только осязаемое, слышится ее дыхание. Но чем выше — тем явственней плотнеет мое бывшее пустым объятие.

А на самом верху — я знаю, она прильнет ко мне совсем явным горячим и упругим телом, совсем схватит меня, войдет в меня, я войду в нее, и мы сольемся.

Так мы встречаемся.

Но — только на этой моей лестнице.

Внизу, днем, когда мир шумел вокруг меня, когда я был занят, она неслышно кралась за мной, то — мелькая впереди и сейчас же теряясь в ворохе разноцветных прохожих, то — чуть шурша сзади. Но если я быстро оборачивался, — мелькал только шерстяной кусочек ее темно-серого платья, и — она опять терялась в гуще разноцветных спешащих людей.

Я не понимаю — как она успевала делать это: может быть, она оборачивалась вмиг этим румяным старичком — степенным, с седыми подстриженными усами, с розеткой ордена в петлице добротного пиджака; или — дамой, обвешанной кубиками пакетов с распродажи; или — дамской собачкой, расхлябанным комочком рыжей шерсти, пучеглазой «пекинуа» с острой розовой сталью треплющегося языка; или — этим глупым напыжившимся голубем?..

Наверно — оборачивалась.

Очень может быть, что она — оборотень, колдунья...

Но вот — всегда там, на климатах и на перевалах, где кончались ковры и цветы, где становилось голо, одиноко и печально, — там она всегда, всегда меня настигала. Я не хочу, я не могу с ней бороться.

Я даже не знаю — какая она?..

Она — нужная или ненужная?.. Она грустная — нет!.. Она веселая — нет!.. Она глупая — нет!.. Она умная — тоже нет, не умная!..

Может быть, она страшная?.. Да нет — и не страшная! Какая же она?..

А чёрт ее знает, какая она!..

Какая ты есть — ты, моя темно-серая шерстяная жизнь?..

10

И вот, боязливо пробуя почву ступающим носком, — не уйдет ли из-под ног, не предаст ли, — осторожно и напряженно Капиташа переступал таинственную границу, и дальне-далекий воздух сладким дымом, морозной свежестью щипал оловянные ноздри.

Угрюмым светло-серым шерстяным платком нависало короткое зимнее небо. На краю темной полосы дороги, кривой — через низины и сугробы, прицепившись к дороге крайними нахлобученными домишками, ежилась деревня. Обставленная домишками дорога поднималась в гору и упиралась в небо, а того, что за перекастом, — ни дороги, ни деревни — не было видно.

Из двух ближних, не видных под снежной шапкой труб тянулся узловатый дымок, перегибался и — расплывался, рассыпавшись по небу полупрозрачными холодеющими и тающими закорючками.

От снега и от платочного неба разлеталась ужасная, непостижимая тишина. Мир стоял пустым и безмолвным. Только худые Капиташины валенки скрипели по снегу, да изредка, скалывая подснежный ледок, звякала о замерзший камень старческая Капиташина клюка.

Где-то — одна — лаяла собака, и когда закутанная в рваный чужой огромный армяк девочка, испугавшись, убежала, и дважды стукнула дверь, — к Капиташе вышла старуха и сказала вопросительно:

— Не знаем вас... Что вы есть за человек?..

Под серым безжалостным небом, под отстаивающейся простоквашей неясных облаков наивное Капिताшино имя сползло со сгорбленных потертыми овчинами плеч. Капиташа стоял пустым и безмолвным.

Подбежавшая лохматая собака замолкла и, склонив голову набок, деревенскими желтыми глазами выжидательно и напряженно рассматривала гостя. В полузакрытой двери низом стоял пар.

Старуха пожевала беззубым ртом и опять сказала недружелюбно:

— Не знаем вас, кто такой ты есть?.. Иди себе!.. Чего тут стал?.. Тут хлеба нету...

— Обогреться бы только, бабушка... — нерешительно сказал Капиташа.

— На вас всех тут бабушков нету... Сказала — иди!.. Много вас тут ходит... А может, ты с границы перебёг... Иди, а то мужчин повозу!..

Далеко на горизонте тянулась зубчатая слоистая лавина лесов. Зимний синий дымок отслаивал мутные дальние ряды от ближних, потемнее. И вот там, путаясь где-то в слоях и стволах, то — изгибаясь по ручью, то — пересекая ручей по камушкам, то — уверенно мысом напирая, то — отступая, загибаясь впадиной, тянулась невидимая тихая и непостижимая граница,

Шум мира — стуки бесчисленных колес, лязг поездов и автомобилей, гул пролетающих аэропланов, грохот разрушаемых и воздвигаемых небоскребов и рокоты толп — не имел власти переступить границу и — где-то там, в синеватых слоях стволов бессильно опускался в снег и смолкал.

И только хилому безмолвному небу дано было выцветшим шерстяным краем дотянуться до дальнего далека.

Шум мира остался сзади, за спиной Капиташа, а впереди были только снег, безмолвие и пустота.

Капиташа шел, и, в такт шагам, в неизвестную землю вонзалась старческая клюка.

В такт шагам выпрыгивали из-под откоса приплюснутые бревенчатые деревеньки и — скрывались за изгибом дороги, в такт шагам реяли шаловливые мотыльки снежинок, и — в такт шагам, неровной цепочкой, от бугра к бугру — росли за спиной тысячи исхоженных Капिताшиных следов.

И все-таки впереди была только пустота и безмолвие...

11

— Ты был счастлив, — сказал Творец. — Ты пил отовсюду, вбирал в себя отблески моих творений. Ты радовался восходящему солнцу, несущему свет, и радовался ночи, несущей прохладу.

У тебя в руках — твердая, весомая и простая, как камень или ветка, — была правда. И, нарицая окружающему имена, ты сам рассыпал эту правду по моему правдивому миру.

Не входя в мир, а только проходя через него, для мира недоступный, невыполняющий его законов, и — самое главное, свободный, как я, ты был правдивым властителем этого мира.

Я хочу, чтобы, созерцая, оценивая мир как властитель, ты бы сам согнулся под тяжестью его законов. Я вложу в тебя их, эти законы, подарю их все, и — самый из них неутолимый, чтобы ты сочетал в себе и меня, Творца, опаленный моим творческим дыханием, и самую низкую тварь, живущую только миг, — зараженный ее мгновенными желаниями.

Я отниму у тебя свободу; только память о ней, как болезненная заноза, застрянет в твоём зараженном, смущенном и — уже рабском — сознании.

...Покорные глаза Адама преданно смотрели на Творца. От частого дыхания полосами на груди вздымались ребра.

Удивленные непривычной неподвижностью Адама мелкие ящерики выбегали из-под корней и, любопытно взглянув на него, скрывались. Обезьянки, раздвигая ветки, глядели на Адама сочувственным на мгновение, непривычно серьезным, даже грустным взглядом и бесшумно задвигали зеленые занавески.

— А взамен безмятежной и великолепной свободы, взамен ясной, как ветка или как камень, правды — я одарю тебя пока еще ненужным, произнесенным словом: Любовь.

Только на одну кратчайшую нестерпимую вечность, на страшный и сладкий миг зарождения новой жизни, когда ты будешь творцом того единственного, что ты можешь сотворить, любовь уведет тебя от земли и от ее пут.

А когда пресыщенный, изнеможенный и жалкий ты опять очнешься на неизбежном земном лоне, ты увидишь, что ясная, как камень или ветка, правда в твоих руках зазмеется ускользающей и неуловимой чешуйчатой блестящей ложью.

Ложью обернется к тебе мир. И, — перепутавшись, отставая, как сухая корка от вещей, неточные, зыбкие, — твердой ложью повиснут в воздухе слова. И, может быть, ложью повиснет в воздухе и сама любовь...

Все равно, — ты будешь лгать и будешь любить!.. Смотри!..

И Адам застыл ошеломленный.

Улыбающийся загадочной улыбкой, разодравший завесу неба и земли, побелевший и ослепительный перед Адамом стоял его бронзовый зверь.

Он казался стройней, тоньше, чем там, в тихой заводи. Как и раньше — безволосыми были его щеки, нос, шея и тело. Только с головы, как водопад, по голым закругленным плечам, переплетаясь, ниспадали ниже колен огненные волосы.

Адама очень удивили два округлых, похожих на большие груши возвышения на груди, которых раньше в тихой заводи он никогда не замечал.

Творец молча стоял в стороне и молча смотрел на творения.

Адам, тоже молча, сделал нерешительный шаг, ударив себя в грудь, и — удивительно — побелевший бронзовый зверь остался совсем неподвижным, хотя его рука была такою же, как его собственная Адамова рука.

Тогда Адам сделал еще один нерешительный шаг и, опять ударив себя кулаком в грудь, выкрикнул, как когда-то над пред-рассветной водяной гладью, свое имя:

— Адам!..

Опять улыбающийся зверь остался неподвижным — не качнулся, не расплзся на полосы и пятна, а вместо повторенного глубинами знакомого имени до Адама долетело совсем ясное, похожее на звон птичьего пения или на стрекот цикад, невыразимо приятное краткое слово:

— Ева!..

Подняв руку, Творец сказал Адаму:

— Это — плоть от твоей плоти... В час твоего тяжелого сна я вынул твое ребро и из него создал ту, кто должна разделить с тобою жизнь... Плодитесь и размножайтесь!..

Забывший обо всем, даже не дослушав последних слов, Адам подскочил вплотную к бронзовому зверю, чтобы поскорее собственными руками потрогать и стройное тело, и — особенно — те похожие на две груши возвышения на груди, которых он в во-

де не видел и которые его очень поразили. Он уже начал делать это, когда Творец сказал:

— Подождите хоть пока я уйду!.. Успеете еще!..

И Творец ушел.

А когда Адам очнулся, он был уже пресыщенным, изнеможенным и лживым рабом.

П а р и ж

Дневники. Воспоминания. Документы

Михаил Булгаков

Записки на манжетах

(Отрывки)

СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли он теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья-писатели, в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов — находчивый человек:

— А вот «Музыкальные гримасы»...

И немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве — и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ...но денег не пла... — начал было я и не успел закончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович — с севера.¹

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой — платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул — сверху другое поставил. Подумал — еще раз пере-черкнул. И так — несколько раз. Но вышла фраза, как кованая. Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in corpore под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие.

Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: — Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

— Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу.

— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слезкин, — отдадим Марии Ивановне!

У меня тут же возникло злое предчувствие... По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в Подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (Ее немедленно назначили заведующей Изо). Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Поздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

— Вам, по-видимому... э... не нравится?

— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень. Только вот... бакенбарды...

— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если играл, то без всяких фокусов!

— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

— А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

— Я на вас пожалуюсь в Подотдел!

Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло *crescendo*... Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта — театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Bis!!».

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот крестин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо!

Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили...

...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

ПОРТЯНКА И ЧЕРНАЯ МЫШЬ

Голодный, поздним вечером, иду в темноту по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:

— Александр Пушкин. Lumen coeli. Sancta Rosa. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди...

Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

ДОМ № 4, 6-й ПОДЪЕЗД, 3-й ЭТАЖ, КВ. 50, КОМНАТА 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде — у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная — «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад.

Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери — маленький клок. Прибит косо и край завернулся. Ли... А! Слава Богу.

Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыв глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там — вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь, вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно... кто? Лито? В Москве? Да Горький Максим! На дне. Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: — Да! Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошее начало карьеры — сломал! Опять постучал. — Да! Да!

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом налево, вы нас заперли... Вправо, влево, дверь мягко поддалась, и...

ПОСЛЕ ГОРЬКОГО Я — ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые. В руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами, был в папаче, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые, и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Всё...

Как-то косноязычно:

— Это... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, ото-

драл от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичек?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем — под ласково-вопросительным взглядом старика — достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть? Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением. Я сказал:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!.. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! — и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

— Прошу назначить секретарем Лито. Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал! Скорей!

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: Назн. секр. Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: — Вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: — Мейерхольд... Октябрь театра...

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:

— Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы всё устроим!

Тут опять хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства, и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!..

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга! Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

Назн. секр. Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне... Шехерезада... Мать.

Молодой потрянул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. Четверть пайка.

Вечер памяти Мандельштама в МГУ

(Под председательством И. Эренбурга)

И. Эренбург. Мне выпала большая честь председательствовать на первом вечере, посвященном большому русскому поэту, моему другу Осипу Эмильевичу Мандельштаму. Этот первый вечер устроен не в доме литераторов, не писателями, а в университете молодыми почитателями поэта. Это меня глубоко радует. Я верю в вашу любовь к поэзии, верю в ваши чувства и радуюсь тому, что вы молоды.

Мандельштам только сейчас возвращается к читателям. Правда, в журнале «Москва»*) была напечатана подборка стихов и статья Н. К. Чуковского. Вчера я получил журнал «Простор»**), где опубликован цикл замечательных стихов. Алма-Ата опередила Москву. В жизни много странностей. Начинает Алма-Ата, а не Москва, начинают студенты, а не поэты. Это и странно и не странно.

Что сказать вам о поэзии Мандельштама? Прочувствованных речей я произносить не умею, кое-что о нем как о человеке уже написал.

Хочу сказать, что русская поэзия 20-30 годов непонятна без Мандельштама. Он начал раньше. В книге «Камень» много прекрасных стихов. Но эта поэзия еще скована гранитом. Уже в «Tristia» начинается раскрепощение, создание своего стиха, ни на что не похожего. Вершина — тридцатые годы, здесь он зрелый мастер и свободный человек. Как ни странно, именно тридцатые годы, которые часто в нашем сознании связаны с другим, годы, которые привели к гибели поэта, — определили и высшие взлеты его поэзии.

Три воронежских тетради потрясают не только необычайной поэтичностью, но и мудростью. В жизни он казался шутливым, легкомысленным, а был мудрым.

В 1931 году — прошу не забыть о дате — он написал:

*) Журнал «Москва» № 8, 1964 г. — Р е д.

**) Журнал «Простор» № 4, 1965 г., с вступительной статьей И. Эренбурга. — Р е д.

За высокую доблесть грядущих веков,
За бессмертную славу людей,
Я лишился и места на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь Голубые Песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет.

Всё в этом стихотворении — правда. Вплоть до фразы «И меня только равный убьет». Его, человека, убили не равные. Но поэзия пережила человека. Она оказалась недоступной для волкодавов. Сейчас она возвращается. Здесь внизу студенты спрашивали, нет ли лишнего билета, как люди просят стакан воды. Это жажда настоящей поэзии.

Книга стихов давно составлена и ждет. Она прождет еще, быть может, год, быть может, пять лет (меня ничто не удивит), но она выйдет. Теперь понимают это, понимают уже все.

День, когда она выйдет, будет праздником. Ведь нельзя вместить не только в эту аудиторию, но и в Лужники всех тех, кто любит стихи Мандельштама.

Я ничего не хочу внести от той горести, которая в каждом из нас, тех, кто знал его, видел, кто знал, как трагично он умирал.

...Жена Мандельштама прожила с ним все трудные годы, поехала с ним в ссылку, она сберегла все его стихи. Его жизни я не представляю себе без нее. Я колебался, должен ли я сказать, что на первом вечере присутствует вдова поэта. Я не прошу ее притти сюда... (Далее его слова заглушил гром аплодисментов, они долго не смолкают, все встают. Надежда Яковлевна, наконец, тоже встает и, обернувшись к залу, говорит: «Мандельштам писал: «Я к

величаниям еще не привык...» Забудьте, что я здесь. Спасибо вам». Все еще долго хлопают.)

Артистка посредственно читает стихи из армянского цикла и «Турчанку».

Н. Л. Степанов. Мандельштам в моей памяти остался как поэт с большой буквы в несколько романтическом представлении. Он совсем не похож на тех разбитых, ловких, оперативных литераторов, которые готовы откликнуться на самый последний крик моды. При этом для меня Мандельштам, при всем различии масштабов, сходен в чем-то важном с Хлебниковым... Это впечатление сложилось с первой встречи, с 1922 или с 1923 года. Я тогда писал стихи, грамотные, не очень грамотные и даровитые. Блока уже не было, единственный человек, который мог мне сказать, писать мне стихи или нет, был Мандельштам... Я поехал в Москву, пришел в дом Герцена и спросил беспечно и развязно первого же встречного, «где живет поэт Мандельштам». Он ответил: «Это я». Я вручил ему благоразумно четыре стихотворения, он их прочел. Неважно, как он отнесся к ним. (Смех.) Во всяком случае с бóльшей деликатностью, чем вы. (Снова смех.) Он стал говорить со мной о поэзии, о Пастернаке, о Тихонове. Видимо, он воспринял мои стихи как подражание Тихонову, прямо он так не сказал, но дал понять. С тех пор я стихов не писал.

У него не было заданной поэтической позы, было подлинное величие поэта.

Прав Н. Чуковский — у Мандельштама есть детали обстановки, но это не быт: «и спичка черная меня б согреть могла». Быт отходит от бытового звучания. В нескольких словах охарактеризовать его невозможно. Ему без сомнения предстоит большое будущее. Он уже определил во многом пути нашей поэзии. Можно наметить 2-3 темы, этапы. Поэзия «камня» — архитектура пропорций, внутренней сдержанности. Он во многом напоминает Батюшкова, Державина — по роскошному патетическому рисунку. (Читает «Адмиралтейство».) Дальше, в «Тристии», намечается новая большая тема, может быть, одна из центральных, — гуманистическая, эллинистическая, узнавание все-чело-веческой гармонии, к которой он стремился и прообраз которой увидел в Элладе. Стих становится прозрачнее, он как бы просвечен... (Читает из статьи о русском языке.) Звучащая плоть слова, насыщенность языка музыкой.

Весь строй, лад его стихов противостоял и противостоит спешной, небрежной газетной недоработке, тому, что так часто наблю-

дается в современной поэзии. Как ювелир слова — один из самых замечательных...

Третий этап — тридцатые годы. В стихах этих лет есть, конечно, и автобиографические элементы, но главное, как всегда у Мандельштама, — общее. Трагические испытания, которые выпали на долю не только ему, но всему народу. И в этих трагических стихах звучит эллинская музыка, но по-иному. При всей тяжести, которая давит на поэта, он сохранил веру в красоту и справедливость мира.

Я должен жить, хотя я дважды умер...

По своему совершенству, по конденсированности, поэтичности трудно что-либо поставить рядом. Он лирик прежде всего, не случайно не писал поэм.

Студент МГУ Борисов читает подряд «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «На страшной высоте блуждающий огонь...» «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Ламарк».

А. А. Тарковский (начинает как бы с середины фразы.) ...И у Мандельштама никогда не будет такой эстрадной славы, как у Есенина или Маяковского, и слава Богу, что не будет, нет ничего ужаснее такой славы. (Аплодисменты.)

Он был уже сложившимся поэтом в традиции Пушкина, Овидия, Батюшкова, когда он резко изменился, в корне изменил поэтику, в его стихах зазвучали иное время, иное пространство. Там, где был поэт старого русского акмеизма, где слово было однозначным.

Слову теперь предоставлена большая власть над миром и поэтом. Работа — уже не описание мира, оказалось, что лучше подчиниться словесной системе. У Мандельштама прекрасное зрение, возможность выражать, удивительная по точности метафорическая система. Он не выносил тепла молочной лирики, излишества не холодных, не горячих чувств. Очень не любил стихов, похожих на него, любил, например, стихи Бергенгрюна.

В его поэзии пересекались дарование и время. Он труден для невнимательного понимания. Когда читается «век-волкодав», то ведь это век, который давит волков и попутно наваливается на плечи поэту. Вот в чем была его трагедия.

Идея соцпереустройства мира была ему очень близка, он весь — в пафосе первых пятилеток. Он очень не любил снобистских мальчиков, ему казалось, что жизнь важнее.

Вершина поэзии Мандельштама — «Стихи о неизвестном солдате». Мандельштам один из основоположников того нового мироощущения, с которым связана теория относительности, открытия Резерфорда, живопись Пикассо, фильмы Чаплина. В поэзии он разработал стихию нового мироощущения первый. Самое важное — его связь со словарем, со всем богатством русского языка. Он далек от расхожего романа. Его известность в литературе близка известности другого великого русского поэта — Боратынского. (Аплодисменты.)

Студент Щукинского училища читает стихотворение «Но люблю мою бедную землю...»

Варлам Шаламов (бледный, с горящими глазами, напоминает мне протопопа Аввакума, движения не координированные, руки все время ходят отдельно от человека, говорит прекрасно, свободно, на последнем пределе — вот-вот сорвется и упадет). Я прочитаю рассказ «Шерри-бренди»*), написал его лет двенадцать тому назад на Колыме. Очень торопился поставить какие-то меты, зарубки. Потом вернулся в Москву и увидел, что почти в каждом доме есть стихи Мандельштама. Его не забыли, я мог бы и не торопиться. Но менять рассказ не стал.

Мы все свидетели удивительного воскрешения поэзии Мандельштама. Впрочем, он никогда не умирал. И не в том дело, что будто бы время всё ставит на свои места. Нам давно известно, что его имя занимает одно из первых мест в русской поэзии. Дело в том, что именно теперь он оказался очень нужным, хотя почти не пользовался станком Гутенберга.

О Мандельштаме говорили критики, якобы он отгородился книжным цитом от жизни. Во-первых, это не книжный цит, а цит культуры. А во-вторых, это не цит, а меч. Каждое стихотворение Мандельштама — нападение.

Удивительна судьба того литературного течения, в рядах которого полвека тому назад Мандельштам начинал свою творческую деятельность. Принципы акмеизма оказались настолько здоровыми, живыми, что хотя список участников напоминает мартиролог (мы говорим о судьбе Мандельштама, известно, что было с Гумилевым, Нарбут умер на Колыме, материнское горе, подвиг Ахматовой известны широко), стихи этих поэтов не превратились в литературные мумии. Если б этим испытаниям подверглись символисты, — был бы уход в монастырь, в мистику.

*) См. «Новый журнал», № 91, 1968 г. Нью-Йорк. — Ред.

В теории акмеизма — здоровые зерна, которые позволили и прожить жизнь, и писать. Ни Ахматова, ни Мандельштам не отказались от принципов своей поэтической молодости, не меняли эстетических взглядов.

Говорят, Пастернак не принадлежал ни к какой группе. Это не верно, он был в «Центрифуге» и очень горько сожалел об этом. Ни Мандельштаму, ни Ахматовой ничего не пришлось пересматривать.

Давно идет большой разговор о Мандельштаме. Здесь — лишь миллионная часть того, что можно сказать. В его литературной судьбе огромная роль принадлежит Надежде Яковлевне. Она не только хранительница его стихов, она — самостоятельная и яркая фигура нашей литературной жизни.

(Читает рассказ.)

«Поэт умирал, вздутые голодом кисти рук с белыми, бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли — для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал на ноги поэта — он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар...»

(По рядам в президиум передали записку. Потом мы узнали, что кто-то из начальства просил «тактично прекратить это выступление». Председатель положил записку в карман, Шаламов продолжал читать.)

«...Жизнь входила сама, как самовластная хозяйка; он не звал, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение... Стихи были той животворящей силой, которой он жил... он не жил ради стихов, он жил стихами...»

...Всё, весь мир сравнивался со стихами — работа, конский топот, дом, пища, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом...

...Поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — всё это суета. Все, что рождается не бескорыстно, это не самое лучшее. Самое лучшее — то, что записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая работа, которую ощущает он и кото-

рую спутать ни с чем нельзя, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано.

...к вечеру он умер.

Но «списали» его на два дня позднее. Изобретательным соседям удалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца. Мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — деталь немаловажная для биографов».

И. Эренбург. Наш вечер закончен. По-моему, он был хорошим. Для меня самым лучшим был студент МГУ, который чудесно читал стихи, — пусть не обижаются мои товарищи-писатели.

Может быть, как капля, которая ест камень, наш вечер приближит хоть на день выход той книги, которую все мы ждем. Я хотел бы увидеть эту книгу на этом свете. Я родился в одном году с Мандельштамом. Это было очень давно. Впрочем, после того, конца того периода, который называется периодом беззаконий, тоже прошло уже много времени. Подростки стали стареть. Пора бы книге быть. Товарищи, вечер окончен. Спасибо вам!

Записано

13 мая 1965 г.

Мехмат. факультет

МГУ

Москва

Соловки

В САВВАТЬЕВСКОМ СКИТУ

...Первые месяцы моего пребывания на Савватии спокойной, нормальной тюремной жизни почти не было. На собрании, на прогулке, в камере, коридоре — все толковали об одном: о борьбе за режим. В том, что борьбу вести придется, никто не сомневался. Спорили о том, как ее проводить. Социал-демократы во главе с Богдановым приводили всевозможные доводы против голодовки. Они утверждали, что массовые голодовки, в которых принимают участие сотни заключенных, обречены на неудачу. Что в условиях Соловков, где заключенные изолированы по трем скитам, она становится невозможной. Ведь даже предварительный створ со скитами наталкивается на бесконечные трудности. Во время же голодовки связь оборвется совсем. С этими доводами соглашались все, но другого выхода не находили.

Я впервые сталкивалась с тюремной борьбой за режим. Сможет ли коллектив выжить в условиях зачинченного режима? Вокруг себя я видела стойких идейных людей, но физически они были измучены, ослаблены годами заключения. И им итти на голодовку?

Что голодовка, раз начавшись, окажется длительной, не сомневался никто. Коллектив, каким я его застала, казался мне обреченным на борьбу. И чем раньше войдет он в нее, тем больше сэкономит сил, растрачиваемых на подготовку. Этот коллектив не выдержит зачинченного режима ни физически, ни психически. Так казалось мне.

Левые эсеры и анархисты уже прекратили всякие переговоры с социал-демократами, кто-то из них сказал мне:

— Вы верите им, вы думаете, что с.-д. верят в возможность

Здесь мы публикуем два отрывка из книги Е. Олицкой «Мои воспоминания», вышедшей в Самиздате. Действие происходит в ссылке на Соловках, в 1925 г., куда попала молодая эсерка Е. Олицкая. Целиком книга выходит в изд-ве «Посев» в ближайшем будущем. — Р е д.

избежать голодовки? Ничего подобного. Они хотят, чтобы голодали за режим мы. Они ищут путей, дающих им возможность не участвовать в общей голодовке. Их обычная тактика . . . бороться за режим нашими руками. Они будут писать заявления, протесты... на это они молодцы. А голодать будем мы с вами.

Я возмущенно запротестовала.

— Как было в прошлом году, вы знаете? — продолжал мой собеседник. — Протестовали они, возмущались, кричали о том, что не примут новый режим. Богданов кричал громче всех. Но 19 декабря, когда во дворе убивали наших товарищей, он у дверей корпуса ловил своих и не выпускал их за дверь. Берег свои меньшевистские кадры. А в переговорах с Эйхмансом ораторствовал: «Вы хотите еще крови, будет и еще кровь!» Иваницкий так легко не аргументировал кровью своих товарищей. И теперь они хотят пожинать плоды, купленные ценой наших жертв.

Многие в коллективе думали так же. Однажды Саша Яковлев, Егор Кондратенко и Соломон Штерн, три заядлых эсера, залучили меня в свою камеру. Все трое были рабочими людьми без особого образования. Саша (многие называли его «святým») — молодой, в ореоле каштановых кудрей, с светящимися глазами, казалось, сошел с одного из нестеровских полотен, — бил меня этическими категориями. Егорушка, значительно старше, рабочий от станка, неказистый, ничего привлекательного по внешности не представлявший, брал иронией, скепсисом. Сема Штерн, более эрудированный, чем его товарищи, раззадоривая, поддерживал их отдельными репликами.

Запомнился мне из всего спора о социал-демократах всего один Сашин аргумент.

— В нашей фракции тоже есть противники голодовки. Ваша Сима, или Гольд, или Иванов... Но они первыми начнут голодовку и последними ее снимут. Пусть бы и с.-д. так: спорили до момента решения, а потом присоединялись к большинству.

— Нам бы отказаться сейчас от голодовки... Что бы тогда сделали с.-д.?

— Может быть, с.-д. в процессе голодовки присоединятся к нам, — ответила я на слова Кондратенко. Но мои собеседники только засмеялись в ответ.

Во всех трех скитах всеми фракциями было принято решение — отправить в Москву заявление еще до закрытия навигации. В нем было требование либо вывести всех политзаключенных с Соловков в места заключения, расположенные на материке, либо

сохранить существующий в настоящее время режим. Фракции эсеров, левых эсеров и анархистов подкрепляли свое требование голодовкой в случае неполучения положительного ответа к указанному в заявлении числу.

Для всех было ясно, что в случае возникновения голодовки всякая связь между Савватием, Муксалмой и Анзеркой будет прервана. Поэтому все переговоры во время голодовки и решение о ее снятии доверялись голодающим Савватьевского скита. Все сговоры в скитах и между скитами и теперь велись с большими трудностями, конспиративно. Заявления всех скитов и всех фракций были посланы в один день и час. Для ответа администрации предоставлялся двухнедельный срок. После подачи заявления нервная напряженность в лагере спала, спорить и дебатировать было не о чем.

Очень тяжелым для меня и моих товарищей был вопрос о переписке с родными. Конечно, с началом голодовки переписка оборвется. Родные знали, когда кончается навигация. Отсутствие писем в неположенное время будет волновать их. Но это и должно стать свидетельством тому, что на Соловках неспокойно. Я думала о папе. Всего несколько писем успела послать я с Соловков. Что будут думать, что будут переживать наши родные, не получая вестей? Мы тоже не будем получать писем. Но мы-то будем знать причину молчания...

За день до указанного заключенными срока Эйхманс приехал в лагерь и заявил, что из Москвы получен отрицательный ответ.

Голодовка началась. По трем скитам голодали анархисты, левые эсеры и эсеры. Только очень серьезно больным и слабым товарищам коллектив запретил принимать участие в голодовке. В Савватии перед началом голодовки заключенные произвели переселение. Все неголодавшие были переведены в одно крыло нижнего этажа, где помещалась кухня. По указанию старост голодающие с первого дня разошлись по камерам и легли на койки. Надо было беречь силы. Не ослаблять себя. Настроение коллектива стало спокойным, уверенным. В победе мы не сомневались.

Меня интересовало чувство, испытываемое голодающими. Особенный профессиональный интерес к голодающим был у Крониды Белкина. Его интерес был интересом научного порядка. Был он очень слабого здоровья, и голодание ему было запрещено коллективом. Как врачу ему было разрешено администрацией лагеря ежедневно вместе с тюремным фельдшером обходить камеры с

голодающими. В Савватии голодало около двухсот человек. Поле для наблюдения было широким. Кронид переживал, что не может голодать вместе с нами, но профессиональный интерес не покидал его. Он вел ежедневные наблюдения и записи. Для нас его ежедневный обход был желанным. Он приносил нам вести о состоянии, настроении товарищей, о жизни всего коллектива. Приносил нам вести и Иваницкий. Он голодал, но все же обходил наши камеры ежедневно.

Голодавшие переносили голод по-разному. Одни мучительно ощущали голод с первого дня до последнего. Другие почти не ощущали потребности в еде. Голодовка наша не была «сухой». Воду мы пили. Самым неприятным для всех был привкус во рту, пересыхание языка, губ. Мне говорили, что в камере голодающих всегда спертый неприятный запах. Его сами голодающие обычно не ощущают. Совершенно ясное мышление мы сохранили во все дни голодовки. Казалось даже, что мозг работает четче, чем обычно. Мы читали, занимались, Прасковья Григорьевна упорно решала задачи и выводила какие-то формулы.

Мы, женщины, целыми днями лежали на койках. Но мужчины, особенно молодежь, не выносили этого постановления старостата. Они бродили по камерам, и у нас нередко бывали гости. Особенно часто заглядывали Степан Гнедов, Вася Филиппов и Шура Федодеев. Крепкие, молодые, здоровые ребята не могли выдержать лежачего режима, а камеры наши находились по соседству.

Часто заходил поведать Симу Гольд. Это был странный и своеобразный человек. И в манере держать себя, и в манере одеваться, и по образу мыслей. Ничего типично эсеровского в нем не было. Худой, высокий, он держался негибато прямо, и лицо его было неподвижное, как бы застывшее. Одевался он всегда по-европейски: в пиджачную, тюрьмой потертую пару, привлекавшую к нему внимание на всех этапах. Был он малообщителен, его не очень любили, но очень уважали. Был он человеком для круга избранных, умным, образованным. Знал языки, был математиком, философом, социологом, прекрасным преферансистом и шахматистом. Он приходил к нам и садился на стул возле Симиной койки. Ровным голосом говорил о вещах, не имеющих никакого отношения к нашей жизни и интересам сегодняшнего дня.

Оба они, и Сима, и Гольд, были противниками голодовки. Оба не верили в победу и не допускали мысли о поражении. Говорили они об астрономических явлениях, о форме литературного твор-

чества, об архитектурных стилях разных эпох. Казалось, что они любят друг друга. Но за Гольдом шла слава старого холостяка, и без конца у нас повторялась его фраза — «жениться может только человек, больной на голову».

Степа, Шура и Вася были совсем другими. Они часами могли просиживать в нашей камере и говорить о голодовке, вернее об ее окончании. Все трое были поварами у нас. Один перед другим выдумывали они, какими обедами будут кормить нас после голодовки, после победы. Эти беседы кончались обычно тем, что Клавдия Порфирьевна, которая мучительно хотела есть с начала голодовки и до ее конца, выгоняла их из камеры. Шура Федодеев и Вася Филиппов часто вели нескончаемые разговоры по социологическим и программным вопросам. Вася был сибиряком, сыном крестьянина. Был он широкоплеч и коренаст. Он не получил никакого систематического образования и упорно наверстывал этот пробел в тюрьме. Больше всего его интересовали экономические вопросы, и он усидчиво штудировал «Капитал» Маркса. Деревенский парень, не видевший ни большого города, ни театра, ни картинной галереи, ни трамвая. Вырос он и культурно, и умственно в тюрьме среди книг и товарищей. В шутливой беседе мечтали мы с ним часто, как вместе поедем смотреть антоновские яблоки. Наши мечты снова прерывала Клавдия Порфирьевна: «Бросьте, — говорила она, — у меня слюнки текут».

Шура, сверстник Васи, был коренным москвичом. Отец его был тренером на бегах, и Шура с детства увлекался скачками, беговыми лошадьми, тренерами — всем тем, о чем я не имела ни малейшего представления. В 1917 году он окончил гимназию и собирался поступить на юридический факультет. Но жизнь столкнула его с одним социалистом-революционером. Вместо юридического факультета дальнейшее образование Шура получал в тюрьмах и ссылках. Он был арестован в 1919 году и сослан в Архангельск. Недолго поработав там на погрузках пароходов, он бежал. Недолго жил он и работал на нелегальном положении. Женился на своей товарке и эсерке. Ждал рождения сына. В 1922 году был снова арестован и отправлен в Пертоминский лагерь. Больше всего его интересовали вопросы социологии. Занимался он упорно и много. В коллективе считался одним из самых талантливых из молодежи. Он принимал участие во всех дискуссиях и сам выступал с докладами. Обычно молчаливый и застенчивый, он мог часами говорить на интересующие его темы. Он вечно сражался с Васей.

— Все наши ударились в экономику. Маркса штудируют. С.-д., те молодцы, они своих теоретиков на зубок знают. А ты?.. Знаешь ты Лаврова, Герцена, Чернышевского?

— Я должен знать обоснования наших противников, — защищался Вася.

Но Шура не сдавался.

— Не эти вопросы сейчас животрепещущие. Нам надо свою программу пересматривать и обосновывать.

В течение всей голодовки он готовился к очередному докладу. Вернее содокладу. Шестаков должен был делать доклад о демократии. Шура стоял на более левых позициях, чем Шестаков. В своих установках он ближе других стоял к левым эсерам. Он считал, что настало время ставить вопрос об объединении всех эсеров на новых позициях, позициях конструктивного социализма.

Степа теорией не занимался. Он был человеком действия, душевным, отзывчивым товарищем, всегда приходившим всем на помощь. Голодать ему было труднее, чем многим другим. Он не любил лежать с книгой. Во время голодовки, вопреки указаниям старостата и Кронида, целыми днями бродил он по камерам голодающих. Приход его всегда радовал. Он разносил вести о самочувствии людей.

Первую неделю заключенные голодали спокойно. На восьмой день как-то сразу сдал Волк-Штоцкий. Он был болен туберкулезом, но отказался от освобождения от голодовки, на котором настаивал старостат. Плохо стало с Таней Ланде и Шестаковым. У всех трех начала подниматься температура. В нашей камере очень ослабела Муралова. Слабость распространялась среди голодающих быстро. Люди все больше дремали или спали; поднимаясь и садясь на койках, испытывали головокружение.

На тринадцатый день голодовки мы узнали, что среди левых эсеров и анархистов появились ликвидаторские настроения. Возмутил нас выдвинутый ими аргумент. Они утверждали, что среди эсеров ослабели некоторые товарищи, им самим неудобно ставить вопрос о снятии голодовки, поэтому его должны поставить «левые» и анархисты. Им, может быть, говорили, что в Анзерке или Муксалме уже есть жертвы голодовки. Ведь договаривались мы голодать до конца. В ответ на предложение о снятии голодовки в связи с тем, что она грозит гибелью слабым товарищам, группа эсеров, в которую вошли и Вася, и Шура, и Степа, пришли к старостам со следующим заявлением:

«Голодовку не прекращать ни в коем случае. Но считая невозможным ставить под удар слабых товарищей, в подтверждение

требований заключенных, начиная с пятнадцатого дня голодовки, ежедневно один из группы вскрывает себе вены и кончает собой. Остальные продолжают голодать».

Широкие круги голодающих не знали об обсуждении такого предложения. Старостат колебался, может ли он притти к такой форме голодовки, не уведомив другие скиты. Во всяком случае, до выяснения вопроса он запретил подобные выступления. С этого совещания старост вызвали в комендатуру. Из Кремля прибыл Эйхманс.

Администрация прекрасно знала о состоянии здоровья голодающих. Ежедневные обходы совершал Кронид в сопровождении фельдшера. Эйхманс стал убеждать старост снять голодовку. Из разговора у старост сложилось впечатление, что им получены из Москвы какие-то инструкции, какие-то полномочия. И он приехал проверить настроение коллектива.

Вернувшись в корпус, старосты застали всех еще более возбужденными. В уборной повесился Н. Его успели вовремя вынуть из петли. Левые эсеры, узнав о попытке самоубийства, решительно заявили о снятии голодовки. Коллектив голодал уже пятнадцатый день. Старостам после разговора с Эйхмансом казалось, что снимать голодовку нецелесообразно. Но состояние коллектива было таково, что они решили провести референдум.

Иваницкий и Гольд прошли по камерам с урной. Закрытой подачей голосов должны были голодающие решить вопрос о голодовке. Жить или умирать — мы понимали, что так стоит вопрос. Но мы понимали и другое: снять голодовку — значит отдаться на милость администрации. Снять голодовку — значит признать свою неспособность бороться за режим и впредь. Все эсеры единогласно высказались за продолжение голодовки. Даже те, кто раньше голосовал против нее. Как, например, Сима и Гольд. Но анархисты и леваки почти единогласно высказались за прекращение голодовки. А это означало ее конец.

Кто-то из товарищей предложил, чтобы наша фракция продолжала голодовку одна. Очевидно, это требование не было продиктовано трезвыми размышлениями. Все мы сжимали кулаки, стискивали в отчаянии руки. Мы знали, что голодовку приходится снимать, и не видели возможности примириться с этим. Особенно остро реагировали слабые, больные. Им казалось, что их физическое состояние определило решение коллектива. Мы боялись, что они наложат на себя руки. За ними напряженно следили.

Спас положение староста социал-демократов Богданов. Он взял на себя переговоры с Эйхмансом, потребовал от левых эсеров

и анархистов до его беседы ни в какие переговоры с администрацией не вступать. Богданов сообщил администрации скита, что просит срочно вызвать Эйхманса, так как имеет к нему весьма серьезное заявление. На другой же день утром Эйхманс прибыл и вызвал Богданова. Пока Богданов был в административном корпусе, в ските царил мертвая тишина.

Мы пятеро лежали, уткнувшись головами в подушки. Как осужденные, ждали мы приговора. Надежды было мало. Много передумала я за эти полтора часа. Одно решение приняла я, казалось, на всю жизнь. Голодать, добываясь чего-нибудь, можно одной или когда знаешь других, как самого себя. Групповые голодовки обречены на неудачу.

Первую весть принес Степа. Как сумасшедший, без стука ворвался он в нашу камеру.

— Голодовка выиграна!

Не знаю, поверили мы Степе или нет, но дыхание у нас перехватило. Все пятеро сели на койках и не могли сказать ни слова. Вслед за Степаном вошли старосты — Иваницкий и Гольд. Прежде всего они накинулись на Степу.

— Марш в камеру! Не будоражить людей: прежде всего организованность и никаких самостоятельных выходов.

Нам они сказали:

— Теперь, товарищи, выдержка и спокойствие. Сегодня в шесть часов вечера мы голодовку снимем. Условия приемлемы. Богданов договорился о них. Голодовка не проиграна, можете нам верить. Подробную информацию вы получите позже, сейчас мы спешим по камерам успокоить всех. Не принимайте сами никакой пищи. Первая еда будет проводиться организованно. Мы теперь поступаем в распоряжение Кронида, он будет ставить коллектив на ноги.

Они ушли. Мы остались одни. Не проиграна! Но и не выиграна, — так надо понимать информацию старост.

Иваницкий выглядел плохо. Последние дни голодания резко сказались на нем. Примерно через час пришел Шура, как посланец от старостата, с подробной информацией. Разговор Богданова с Эйхмансом начался с заявления Богданова о том, что голодовку надо кончать, что он не в силах сдержать свою фракцию от присоединения к голодовке, что его товарищи, особенно молодежь, не могут оставаться пассивными, наблюдать гибель голодающих, что сам он считает голодовку нежелательным способом борьбы, но за фракцию социал-демократов больше отвечать не может. Во всяком случае, если не завтра, то после первой жертвы все со-

циал-демократы всех скитов к голодовке присоединятся. Богданов сказал, что берет на себя ответственность за начало переговоров об условиях, на которых убедит товарищей голодовку снять. Эйманс пошел на переговоры, и были приняты следующие положения:

1. Вывоз политзаключенных с Соловков в связи с закрытием навигации в настоящее время произведен быть не может, и до весны о нем говорить невозможно.

2. Режим в целом остается прежним. Никаких принудительных работ ээки проводить не будут, они будут заниматься только заготовкой в лесу дров для отопления своего корпуса, доставкой дров в зону.

Формально голодовка оказалась выигранной. Фактически (мы знали) она была проиграна. И дело было не в заготовке дров... От работы по самообслуживанию ээки никогда не отказывались. В большинстве своем люди физическим трудом даже не тяготились из-за отсутствия работы. Выход в лес, когда нас посылали за венниками, выход за колючую проволоку — радовал.

Сообщив нам решение старостата, Шура хотел уже уйти из камер, но Клавдия Порфирьевна спросила:

— Если решили голодовку снять, почему нам не дают есть?

— На Анзерку и Муксалму уже выехали наши представители, два уполномоченных старостатом с.-д. Администрация предоставила им транспорт. По их возвращению мы начнем принимать пищу. С.-д. прямо с ног сбились, — шутил уже Шура, — все это время они одни весь корпус отапливали, теперь берутся за приготовление пищи. Две недели дают они нам на поправку. Будут нас поить и кормить. Им дела теперь по горло будет. Первая еда неважная. По распоряжению Кронида — кофе с молоком и сухарик. А через два часа манная каша.

Настроение наше несколько поднялось. Клавдия Порфирьевна сказала, что будет спать до первого сухарика. Я перебралась на койку к Симе. Тихонько перешептываясь, мы вместе переживали события. Разговаривая, мы не сразу обратили внимание на страшный звук, идущий с койки Александры Ипполитовны. Плачет она? Мы обе знали, что Александра Ипполитовна вошла в голодовку в надежде на вывоз с Соловков. Ей было очень грустно, очень одиноко, очень тяжело на Савватии. Иваницкий был отцом ее первого умершего ребенка. Постоянные встречи с ним были ей очень тяжелы. Из старых друзей с отъездом Примака у нее никого не осталось. Александра Ипполитовна не говорила прямо, но мы чув-

ствовали, как она надеется на вывоз с Соловков. С этой надеждой проголодала она все пятнадцать дней. Теперь надежды рухнули.

Звук, который мы слышали, не походил на плач. Какое-то нервное прерывистое дыхание. Сима окликнула ее. Ответа не было. Я подошла к ее койке, отстранила одеяло. Александра Ипполитовна лежала, вытянувшись, бледная, с широко открытыми, остекленевшими глазами. Зубы ее были оскалены и сжаты.

— Сима! Сима!

На мое восклицание оглянулись все.

— Ей дурно! — крикнула Сима. — Скорее врача!

Я бросилась вон из камеры.

— Никому ни слова, кроме Кронида! — крикнул мне кто-то вслед.

В коридоре не было ни души. Вокруг — камеры голодающих. Где найти Кронида? «Можно сказать кому-нибудь из с.-д.», — подумала я. Чтобы не встретить никого из голодающих, я бросилась вниз по лестнице на первый этаж. Тут я сразу натолкнулась на людей...

— Катя, что с вами?

— Ради Бога, скорее Кронида. Шестневской плохо. И никому, кроме него, ни слова.

Молоденький меньшевичок Коля Зингер бросился прочь. Я почувствовала, что у меня самой подкашиваются ноги. Нервное напряжение схлынуло. Наступил упадок сил. Как я бежала вниз по лестнице? Теперь, держась за перила, я еле ползла вверх. Бегом, прыгая через две ступеньки, обогнал меня Кронид.

Когда я поднялась по лестнице и завернула в наш коридор, меня охватил страх. Я не могла зайти в камеру. Лицо Александры Ипполитовны маячило перед моими глазами. Я завернула по коридору и пошла в уборную. Сколько простояла там, прислонившись к подоконнику, не помню. Помню, как открылась дверь и вошла Сима.

— Я за вами, — сказала она. — Кронид впрыснул камфору. Ей лучше.

— Откуда вы узнали, что я здесь?

— Догадалась, — отвечала Сима, пожимая мне руку. Так, за руку мы и вернулись в камеру.

По распоряжению Кронида нам дали по стакану кофе с молоком и по сухарику. Это была ошибка. Большинство — Сима, я и другие, выпив кофе, с удовольствием заснули. И не захотели просыпаться и есть принесенную нам ночью манную кашу. Но

многие ослабленные голодовкой эски реагировали на кофе иначе. Крепкий кофе не поддержал сердечную деятельность, а нарушил ее. Всю ночь бегал Кронид со шприцем по камерам.

Серьезнее других после голодовки заболел Иваницкий. Нервная нагрузка пятнадцатидневной голодовки и ее печальный конец расстроили его нервную систему. Он начал икать. Икал безостановочно два раза в минуту. Кронид уложил его в кровать, запретил всем, кроме ухаживающих за Иваницким, входить в камеру. Иваницкого нельзя было оставить одного. В то же время он не должен был сознавать, что находится под наблюдением. Иваницкий не хотел признавать нервную икоту за болезнь и гнал от себя Кронида.

Мы осаждали Кронида вопросами о неслыханной ранее болезни. Он прочитал нам целую лекцию о непроизвольном сокращении пищевода. Мы усвоили из нее только то, что если икание не прекратится в течение нескольких суток, возможен смертельный исход. Коллектив замер. Двое суток икал А. А. Иваницкий в своей камере. На третьи сутки икание прекратилось так же внезапно, как и появилось. Выздоровление Иваницкого можно считать концом голодовки.

Все вздохнули с облегчением. Прямого урона, прямой потери голодовка не принесла ни одному скиту. Коллектив начал жить, перестраиваться с позиций борьбы на мирные позиции. Иваницкий сложил с себя старостатство. Коллектив принял это как должное, без слов.

Мирную жизнь должен был возглавить иной человек — более гибкий, более уступчивый, сторонник пассивной жизни в тюрьме. Старостой эсеров Савватьевского скита был избран Гольд.

В трудное время принял он старостатство. Он должен был отстаивать перед администрацией интересы эсков, зная, что в своих переговорах с Эймансом он должен избегать острых углов, ни на минуту не роняя престижа эсков. И надо сказать, Григорий Львович повел коллектив блестяще. Без позы и демагогии, присущих Богданову, спокойно, твердо, уверенно и выдержанно вывел он коллектив из голодовочного состояния и переключил на мирную, спокойную ежедневную жизнь.

В утренние, дообеденные часы эски занимались по своим камерам. До 4-х часов работала скитская библиотека, богатая по количеству и по составу книг. С четырех часов дня до шести вечера — занятия в школе, программа которых соответствовала старшим классам гимназии. Вечерами читались доклады по различным во-

просам. После вечерней поверки шли репетиции нашего оркестра и драмкружка.

Жизнь была для меня так полна, что я не замечала, как уходили дни. Меня никогда не привлекала сцена, не было у меня и артистических способностей, но по настоянию товарищей я вошла в драмкружок, т. к. не хватало исполнительниц женских ролей. И увлеклась. У нас не было талантливых артистов, зато были талантливые режиссеры, декораторы и музыканты. По культуре выполнения и замыслу наши постановки не уступали московским театрам, по использованию ничтожных средств они превосходили всё мною виденное. Буквально из ничего создавались костюмы и декорации. Всем этим, конечно, мы были обязаны художникам Косаткину и Эпсельду. Оркестр был организован Яшей Рубинштейном. Из чего только не создавались музыкальные инструменты! Юмористические номера были тонки по содержанию и блестящи по форме. В них была и политическая сатира, и сатира на скитские темы.

Никогда раньше и никогда позже не встречала я такого богатого людьми коллектива. Коллектива, стоявшего на столь высоком моральном и духовном уровне. Часто мне приходилось слышать от товарищей, что савватьевский коллектив беден силами, при этом назывались имена Рихтера, Гоца, Веденяпина, Агапова и других, разбросанных по разным тюрьмам и ссылкам. Я верила. Недаром же эти люди были выдвинуты в свое время в ЦК партии. Но те, кого я знала воочию, вызывали во мне преклонение. С кем бы из старых друзей я ни заговорила, я чувствовала, какую глубокую веру, какую продуманную, прочувствованную, убежденную мысль несут они в себе. До сих пор я счастлива, что встретила с такими людьми, укрепившими во мне веру в человека. То, что я ожидала от Соловков, то, что надеялась найти, воплощалось в жизни.

В те годы все вопросы революции были животрепещущи. Внутри партии они стояли с предельной остротой. Дискутировался на наших собраниях — реже межфракционных, чаще фракционных — каждый программный тезис. Люди, только что вырванные арестом из кипящей революционной борьбы, обреченные на вынужденное бездействие, всеми помыслами своими были по ту сторону решетки. Они переживали, вновь пересматривали прошлое, подвергая его критике, сопоставляя теорию с практикой, вносили поправки в первую и отмечали ошибки во второй.

Внутри эсеровской фракции скита были представлены разные течения. Умеренное возглавлялось наиболее эрудированными людьми. Самое левое течение, ратующее за объединение с левыми эсерами, больше поддерживалось молодым поколением. Споры и дискуссии открывались по каждому докладу. Каждый доклад делался двумя докладчиками, разделявшими разные точки зрения. Затем разворачивались прения. В этих дискуссиях не было вражды. Вернее было больше взаимоуважения, чем вражды. На них рос коллектив. Росла и я.

Остро и страстно проходили прения. Люди спорили и говорили о том, чему отдали и продолжали отдавать свою жизнь. Проверяли правильность позиций и дел, во имя которых они прошли каторги и тюрьмы и снова садились за решётки.

Среди коллектива было много старых каторжан: Саша Яковлев, Егор Кондратенко, Фельдман, Абрам Гельтман, потемкинец Филиновский; были люди, присужденные судом к смертной казни: Иваницкий, Юрий Подбельский. Разве я могу перечислить всех? В нашей фракции было больше шестидесяти человек.

Ничто я не могу сравнить с впечатлением, которое производило на меня их хоровое пение революционных песен.

Пусть нас по тюрьмам сажают,	Если ж погибнуть придется
Пусть нас пытаются огнем,	В тюрьмах и шахтах глухих,
Пусть в Соловки нас ссылают,	Дело всегда отзовется
Пусть мы все кары пройдем.	На поколениях живых...

Сейчас, когда я пишу эти строки, я знаю: они прошли весь этот путь и погибли. Погибли во имя своих идеалов, во имя счастья и блага людей.

Рихтер — в 1932 году от голодного тифа, в ссылке.

Ховрин — в 1933 году в этапе.

Берг — в 1935 г. в ссылке.

Филиновский — в сороковых годах на Колыме.

Самохвалов, левый эсер, — на Колыме.

Погибали в лагерях без права на переписку, погибали под пулями расстреливавших их палачей.

«Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу...»

«Не плачьте над трупами павших борцов...»

Я и не плачу.

Из Зеркального переулка в Кремль

От редакции

Друзья из Англии обратили наше внимание на то, что в 1967 г. появилась в печати работа о поездке Ленина в «запломбированном вагоне» через Германию в Россию. Она была написана к пятидесятилетней годовщине этого исторического факта и опубликована в цюрихской социал-демократической газете «Фольксрехт». Автор работы — сын тогдашнего организатора и руководителя поездки, бывшего секретаря швейцарской социал-демократической партии и государственного советника Фрица Платтена, близкого друга Ленина. Фриц Платтен был одним из основателей III Интернационала. Вместе с Зиновьевым и Эберлейном он председательствовал на съезде, во время которого был создан III Интернационал.

Фриц Платтен спас жизнь Ленину во время первого покушения на него 1 (14) января 1918 года. В 1932 году он переехал на жительство в родной город Ленина Симбирск и там, в деревне Новая Лава, вместе с другими пятидесятью швейцарцами, создал образцовую коммуну.

Платтена постигла та же судьба, что Зиновьева и Эберлейна: он погиб во время «великой чистки». В 1939 году за «нелегальное ношение оружия» (цитата из письма Булганина сыну Платтена) он был осужден на четыре года исправительно-трудовых лагерей и умер там в 1942 году, в день, когда празднуется рождение Ленина.

Глубоко потрясенный судьбой своего отца, сын Платтена — Николай Фриц Платтен, — ныне проживающий в Швейцарии, занялся изучением его жизни, работы, отношений с Лениным и, в частности, поездками отца по поручению последнего. На основании этого изучения он пришел к выводу, что во время «великой чистки» специально уничтожались те люди, которые, по заданию Ленина, так или иначе сотрудничали в то время с немцами. Прежде чем Сталин решился приступить к заблаговременной подготовке пакта с Гитлером, он предварительно ликвидировал всех, кто знал о прежних русско-немецких связях Ленина. Таков, коротко говоря, тезис, который сын Платтена своей работой ставит на обсуждение.

Его труд вызвал большой интерес и положительную оценку швейцарских, немецких, английских и американских историков. В настоящее

время мы получили разрешение опубликовать эту работу в нашем журнале. Н. Ф. Платтен считает необходимым при этом отметить, что, поскольку обратный перевод на русский язык ряда документов в некоторых случаях может привести к небольшим ошибкам и разночтениям, основным следует считать оригинальный немецкий текст «Von der Spiegelgasse in den Kreml» в газете «Volksrecht» (№№ 60, 62 — 88, за март-апрель 1967 г.).

Редакция со своей стороны проверила большинство цитат и вставила в перевод работы Н. Ф. Платтена оригинальный русский текст документов, в ссылках указав источники. При поисках цитат на русском языке редакция пользовалась следующими источниками:

В. И. Ленин. Сочинения. Издание второе, исправленное и дополненное: том XIX, 1935 г., том XX, 1927 г., том XXI, 1928 г., том XXIX, 1932 г.

В. И. Ленин. Сочинения. Издание четвертое: том 23, 1952 г., том 35, 1952 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

15 марта исполнилось пятьдесят лет с того дня, как Ленин, проживавший тогда со своей женой Крупской в Цюрихе, в маленькой комнатухе у сапожника Каммерера в Зеркальном переулке*) 14, узнал о победе русской Февральской революции. Хотя Германия и находилась в состоянии войны с Россией, Ленину удалось с помощью тогдашнего секретаря социал-демократической партии Швейцарии Фрица Платтена организовать свой проезд в «запломбированном» вагоне через Германию. Поздней ночью 16 апреля 1917 года Ленин прибыл в революционный Петроград, где ярко освещенный прожекторами он был восторженно принят петроградским пролетариатом. Семь месяцев спустя Ленин захватил власть в свои руки

Фриц Платтен, организовавший поездку Ленина и сопровождавший его, с полным правом писал, что эта операция была вмешательством в ход мировой истории:

«Кто в Западной Европе осмелился бы предсказать, что эти люди, которые бы могли собрать все свое имущество в один красный носовой платок, как это делают искусные подмастерья плотников в черных галстуках, смогут стать вождями и руководителями стотридцатимиллионного народа?»

В своей оценке Платтен не остался одинок. Историк Эдгар Бонжур говорит о «необозримых последствиях путешествия Ленина, которые сказались на дальнейшем ходе мировых событий». Вальтер Лакёр писал в своем труде «Германия и Россия»:

*) Швейцарское название — Spiegelgasse. — Ред.

«Запломбированный поезд решающим образом повлиял на мировую историю. Без руководства Ленина большевики, возможно, не рискнули бы нанести удар; возможно, что они не смогли бы выстоять в первые критические месяцы и годы без его руководства».

Чёрчилл уже в своем раннем труде «Мировой кризис»¹⁾ писал:

«В середине апреля немцы приняли прискорбное решение. Людендорф лишь глухо о нем упоминает. При этом следует учесть ту отчаянную игру, на которую немецкие вожди уже решились. Они дошли до того, что пошли на неограниченную войну под водой, хотя и могли в то время уже сообразить, что она повлечет за собой выступление против них Соединенных Штатов. На западном фронте они с самого начала применяли без разбора любые страшные средства нападения, бывшие тогда в их распоряжении. Они широко использовали ядовитые газы и изобрели «огнемёт». Против России же они применили еще более страшное оружие, пугавшее их самих. В запломбированном вагоне, как эпидемическую бациллу, они отравили Ленина из Швейцарии в Россию».

Иллюстрацией к сказанному может служить и точка зрения немецкого генерала Макса Гофмана:

«Подобно тому, как я бросаю во вражеские траншеи гранаты, как я пускаю на них ядовитые газы, я как враг имею право применять и средства пропаганды против вражеских соединений».

В соответствии с этой стратегией немецкий контрразведчик Ганс Штейнвакс телеграфировал из Стокгольма:

«Въезд Ленина в Россию удался. Его деятельность развивается соответственно нашим желаниям».

Писатель Стефан Цвейг посвятил этой поездке повесть, которую включил в свою книгу «Звездные часы человечества»²⁾.

«И поезд тронулся в направлении Готтмадингена — немецкой пограничной станции. Три часа десять минут, — и часы мира изменили свой ход. Миллионы уничтожающих снарядов были выпущены в этой мировой войне. Инженеры продолжали изобретать самые тяжеловесные, самые мощные, самые дальнобойные. Но ни один снаряд не был более дальнобойным и решающим, чем этот поезд, набитый самыми опасными и решительными революционерами столетия и мчащийся в этот момент от швейцарской границы через всю Германию, чтобы достичь Петербурга и взорвать порядок времени».

С такой оценкой согласны английский консерватор и швей-

¹⁾ Winston Churchill. „The World Crisis“. — Н. Ф. П.

²⁾ Stefan Zweig. „Sternstunden der Menschheit“. — Н. Ф. П.

царский революционер, строгий прусский генерал и утонченный еврейский писатель, нейтральный историк и этнограф-исследователь. И все же Шуб в какой-то мере прав, когда он утверждает, что исчерпывающая история этого поезда еще не написана. Правда, немецкий историк Вернер Хальвег в своей вышедшей десять лет назад книге «Возвращение Ленина в Россию в 1917 году» обработал документы немецкого министерства иностранных дел и дал им оценку, а также использовал документы, попавшие в руки англичан в 1945 году, и документы кайзеровского немецкого посольства в Берне³⁾. Но с русской стороны мы располагаем лишь отрывочными описаниями этой поездки, к тому же полными противоречий.

В связи с изучением жизни моего отца Фрица Платтена, я месяцами занимался этой поездкой. Мной была избрана форма дневника, повествующего об организации и реализации этой поездки. К тому же я получил разрешение профессора Хальвега и швейцарского государственного архивариуса доктора Хааса (за что я приношу им мою благодарность) цитировать швейцарские и немецкие документы, касающиеся этого путешествия. Таким образом, впервые мною были сопоставлены русские, немецкие и швейцарские высказывания, но, конечно, без немецких документов вряд ли мне удалась точная реконструкция событий.

Мне хотелось бы еще подчеркнуть, что я изучал эту поездку, не находясь ни под каким влиянием моего отца. В 1931 году, во время его последнего пребывания в Швейцарии, мы об этом не произнесли ни одного слова. Я старался работать над этой темой объективно и был сам в известной мере вынужден проследить всю «игру» моего отца. Так нескромно заглядывая в «мастерскую истории», мы обнаруживаем относительную ценность вещей.

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 1917 Г.

По узкой лестнице дома в Зеркальном переулке № 14 (старая часть Цюриха) пополудни взбежал польский большевик Бронский, взволнованный и задыхающийся, и сообщил Ленину сенсационную новость о победе революции в Петрограде. Затем оба спешно отправились к расположенному невдалеке Бельвю, где Ленин стал жадно и по несколько раз просматривать вывешенные там скудные сообщения из Петрограда. Одна из целей его

³⁾ Verlag E. J. Brill. Leiden 1957. — Н.Ф.П.

жизни воплотилась в действительность. Еще 22 января в своем докладе⁴⁾, который Ленин читал перед социалистической молодежью Цюриха, он отметил, что:

«...Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией».

Но в то же время в его голосе прозвучала грусть, когда он сказал:

«Мы, старики, (Ленину было всего 47 лет. — Н. Ф. П.) не доживем до решающих битв этой грядущей революции».

Правда, он тут же утешил себя тем, что:

«Молодежь... будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».

В тот же вечер Ленин написал своему другу Инессе Арманд в Кларан, как бы подведя итог дня:

«Мы сегодня в Цюрихе в ажиотации: от 15. III есть телеграмма в «Züricher Post» и в «Neue Zürcher Zeitung», что в России 14. III победила революция в Питере после 3-хдневной борьбы, что у власти 12 членов Думы, а министры *все арестованы*.

Коли не врут немцы, так правда.

Что Россия была последние дни *накануне революции*, это несомненно.

Я *вне себя*, что не могу поехать в Скандинавию!! Не прощу себе, что не рискнул ехать в 1915 г.»⁵⁾.

У Ленина возникло непоколебимое желание как можно больше приблизиться к очагу революции, поскольку все еще существовало сомнение в правильности немецкого сообщения. Военная пропаганда двух группировок власти настоятельно требовала, чтобы ко всем сообщениям относились со сдержанностью и крайней осторожностью. В Швейцарии Ленин вдруг почувствовал себя запертым в клетке, в то время как в Стокгольме у него были бы благодаря хорошим связям в Финляндии совсем иные возможности действовать.

Вряд ли мы ошибемся, увидев связь между его словами о том, что он не может себе простить, что не решился на поездку в 1915 г., и тогдашним посещением Ленина Парвусом-Гельфандом

⁴⁾ «Доклад о революции 1905 г.» был написан В. Лениным в январе 1917 г. на немецком языке и прочитан на собрании, организованном рабочей молодежью в «Народном Доме», 22/9 января 1917. Впервые напечатан в «Правде» № 18 (2949). Перевод с немецкого под редакцией И. И. Скворцова-Степанова (Том XIX, стр. 357, 482, сноска 178.) — Ред.

⁵⁾ Том 35, стр. 237. — Ред.

в Берне. Правда, Ленин тогда отказался от предложения совместно работать для дальнейшего развития революции в России с этим ведущим в прошлом членом кратковременного петербургского Совета 1905 г., так как Парвус-Гельфанд тем временем в результате темных спекулянтских сделок в Константинополе разбогател и перешел в начале Первой мировой войны с развешиваемыми знаменами на сторону Германии. В глазах Ленина он превратился в социал-шовиниста отвратительнейшего толка. Теперь же он снова вспомнил о его предложении.

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА 1917 Г.

Эту ночь Ленин провел почти без сна. Мысли его лихорадочно вращались вокруг того, как бы поскорее попасть в Скандинавию. В этой ситуации весьма кстати был бы самолет, но где его достать и откуда взять деньги для найма самолета? Крупская (его жена) рассказывает, как ему на ум пришла идея попросить шведских товарищей подделать для него шведский паспорт. Но Ленин не умел говорить по-шведски.

В своей книге «Жизнь Ленина»⁶⁾, вышедшей в 1964 г., Луи Фишер пишет, что Ленин послал представителю большевистской партии в Стокгольме Якову Фюрстенбергу (он же Ганецкий)⁷⁾ заложенную в книгу записку следующего содержания:

«Найдите шведа, похожего на меня. Но я не знаю шведского языка. Следовательно, этот швед должен быть глухонемым. На всякий случай посылаю Вам мою фотографию для поддельного паспорта»⁸⁾.

Крупская рассказывает дальше, как она его в конце концов отговорила от этой идеи:

«Ты заснешь, увидишь во сне меньшевиков и начнешь громко ругаться: свиньи, негодяи! И тогда вся твоя конспирация кончится»⁹⁾.

⁶⁾ Fischer Louis. „Das Leben Lenins“. Büchergilde Gutenberg. Frankfurt/M., Wien, Zürich. 1964, Seite 140. Titel der Originalausgabe The Life of Lenin. Aus dem amerikanischen von Irmgard Kutscher. — Н.Ф.П.

⁷⁾ Ганецкий был членом заграничного ЦК большевиков, организованного в Стокгольме (БСЭ, 1929 г., т. 14, стр. 518). — Р е д.

⁸⁾ Слова «для поддельного паспорта» выпущены Н. Ф. Платтенем из текста Л. Фишера. — Р е д.

⁹⁾ Цитата заимствована Н. Ф. Платтенем из книги Л. Фишера «Жизнь Ленина» (см. выше сноску 6). В свою очередь Л. Фишер ссылается на сочинения Н. Крупской: „Krupskaja Nadeshda K. Erinnerungen an Lenin, Wien, Berlin 1929, Bd. II, S. 185 f“. — Р е д.

Для меня, с детства знакомого с этой трогательной историей, было сенсацией узнать из реабилитационной брошюры Иванова «Фриц Платтен» (по-русски вышла в июле 1963 г.), что Бронский якобы получил от Ленина, задание протелеграфировать Ганецкому:

«Пошлите фотографию моего дяди (то-есть Ленина — Н. Ф. П.) в Берлин Георгу Скларцу, Тиргартенштр. 9, Берлин».

Значит, Ленин был не только в курсе дел, что его паспорт будет сфабрикован в Берлине, но даже знал имя человека, связанного с центром подделки паспортов, и его адрес! Такое признание спустя почти сорок шесть лет в официозном, можно сказать, источнике, действительно, — сенсация.

Ленин написал своей доверенной Александре Коллонтай в Стокгольм и дал ей политические директивы. Он сомневался в том, что новое право настроенное буржуазное правительство в России разрешит легальную рабочую партию, и даже писал:

«...Величайшим несчастьем было бы, если бы обещали теперь кадеты легальную рабочую партию и если бы наши пошли на «единство» с Чхеидзе и Ко!!»¹⁰).

Он настаивал на том, что если легальная партия будет все-таки разрешена, она обязательно должна будет в дальнейшем совмещать легальную работу с нелегальной. Он уже выдвинул лозунг «Вся власть Советам» и определил дальнейшую цель — мировую революцию. Он требовал в случае освобождения большевистских депутатов (которые были в 1914 г. пожизненно посланы в Сибирь за антимилитаристическую пропаганду и отклонение военных кредитов в Думе), чтобы один из них обязательно приехал на пару недель в Скандинавию. Из этого можно заключить, что Ленин собирался перенести свою деятельность до поры до времени в Стокгольм, так как положение в Петрограде казалось ему слишком неустойчивым.

СУББОТА, 17 МАРТА 1917 Г.

В свою очередь Ленин получил телеграмму от Александры Коллонтай, в которой она просит у него указаний. В ответном письме Ленин жалуется на свою отрезанность, что касается информации.

«Вчера казалось так, — пишет он, — что Гучковско-Милоковское правительство уже вполне победило и уже вступило в соглашение с ди-

¹⁰) «Два письма А. М. Коллонтай». Том XX, стр. 5. — Ред.

настий. Сегодня дело стоит так, что династии нет, царь бежал, готова явно контрреволюцию!...»¹¹⁾).

Дальше он сообщает, что разработал с Зиновьевым тезисы, которые пошлет ей. Инструктирует ее для ведения дальнейших нелегальных связей между Норвегией и Россией, предупреждает об опасности совместной работы с меньшевиками и Троцким и высказывается за вооруженное ожидание, за вооруженную подготовку на более широкой базе для следующего этапа. В конце Ленин пишет:

«При свободе печати переиздать (как материалы к истории недавнего прошлого) наши здешние вещи, и телеграфно известить нас, можем ли мы помочь писанием отсюда через Скандинавию. Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся»¹²⁾.

Из тезисов Ленина и Зиновьева видно, что они переоценивали силу царского правительства из-за недостатка точной информации. Они считали возможным, что царь окажется в состоянии организовать партию или армию для реставрации; если же царю удастся бежать из России, то он якобы выпустит манифест, в котором сообщит, что заключает сепаратный мир с Германией, который сможет тотчас вступить в силу!

Эту опасность Ленин учитывал раньше. В своей статье «Поворот в мировой политике» («Социал-демократ» № 58, зарубежный орган большевиков) он высказался уже 31 января 1917 г. относительно такой теоретической возможности. Из этой статьи, в которой Ленин пишет о «победоносной Германии», явствует, что он переоценивал экономические силы Германии и из этого делал вывод, что:

«...Награбивший очень и очень много германский империализм в состоянии дать союзникам Англии полууступочки»¹³⁾. («Под «союзниками» Ленин подразумевал Бельгию, Францию и Россию. — Н. Ф. П.)

Ленин боялся такого компромиссного мира, который оставил бы всё по-старому.

«Именно теперь, — так заканчивает он свои наблюдения, — когда правящая буржуазия готовится к тому, чтобы мирно разоружить миллионы пролетариев и безопасно перевести их — под прикрытием благовидной идеологии и непременно окропив их святой водицей сладеньких пацифистских фраз! — из грязных, вонючих смрадных траншей, где они занимались бой-

¹¹⁾ «Второе письмо к А. М. Коллонтай». Том XX, стр. 7. — Р е д.

¹²⁾ Там же. — Р е д.

¹³⁾ Том XIX, стр. 380. — Р е д.

ней, на каторги капиталистических фабрик, где они должны «честным трудом» отрабатывать сотни миллиардов государственного долга, именно теперь получает еще большее значение, чем в начале войны, тот лозунг, с которым обратилась к народам наша партия осенью 1914 г.: превращение империалистической войны в гражданскую войну за социализм!»¹⁴).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА 1917 Г.

Ленин отправился в город часовых фабрик Ла Шо-де-Фон (в кантоне Юра), чтобы прочесть там доклад, посвященный Парижской коммуне 1871 г. Он коснулся при этом вопроса русской революции и, исходя из него, провел параллель между двумя этими событиями. Его изложение все-таки было слишком общим, поскольку он располагал очень небольшим материалом. Доклад его был лишь кратко упомянут в местной прессе, без всякого резюме.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА 1917 Г.

Вернувшись в Цюрих, Ленин узнал, что царь отрекся от престола. Несмотря на то, что он уже отослал свои тезисы, в подкрепление им он отправил телеграмму следующего содержания:

«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству, Керенского особенно подозреваем, вооружение пролетариата — единственная гарантия, немедленные выборы в Петроградскую думу, никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте в Петроград.

«Ульянов»¹⁵)

Лишь теперь для него действительно осуществился первый этап революции и была устранена опасность реставрации. В этот день в уме его родилось решение вернуться как можно скорее, и не столько в Скандинавию, как в Россию. Несмотря на то, что в этот день в Берне заседал комитет русских эмигрантов самых разнообразных направлений, на который Ленин послал Зиновьева в качестве своего наблюдателя, чтобы провести переговоры относительно технических возможностей возвращения на родину, он писал своему другу Карпинскому в Женеву:

«Я всячески обдумываю способ поездки. Абсолютный секрет — следующее. Прошу ответить мне тотчас и, пожалуй, лучше экспрессом (авось

¹⁴) Там же, стр. 384 и 385. — Р е д.

¹⁵) «Телеграмма большевикам, отъезжающим в Россию». Перевод с французского. Том 23, стр. 287. — Р е д.

партию не разорим на десяток лишних экспрессов), чтобы спокойнее быть, что никто не прочел письма.

Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию, а я поеду *по ним* через Англию (и Голландию) в Россию.

Я могу одеть парик.

Фотография будет снята с *меня* уже в парике, и в Берн в консульство я явлюсь с Вашими бумагами уже в парике.

Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель (до телеграммы от меня из Скандинавии): на это время Вы должны запрятаться архисурьезно в горах, где за пансион *мы* за Вас заплатим, *разумеется*.

Если согласны, начните *немедленно* подготовку самым энергичным (и самым тайным) образом, а мне черкните тотчас во всяком случае.

Ваш Ленин

Обдумайте все практические шаги *в связи с этим* и пишите подробно. Пишу Вам, ибо уверен, что между нами все останется в секрете абсолютном»¹⁶).

ВТОРНИК, 20-ГО МАРТА 1917 Г.

Зиновьев доложил Ленину о конференции эмигрантского комитета, которая по инициативе Интернационалистической Социалистической Комиссии (ИСК — Циммервальдская Комиссия) состоялась за день до того в Берне. В ней участвовали представители русской и польской партий, которые присоединились к Циммервальдскому направлению. Сразу после этого съезда, послужившего ориентацией для будущего, состоялась вторая встреча, в которой участвовали среди прочих Мартов, Бобров (Натансон), Зиновьев и Косовский. Обсуждались различные возможности возвращения в Россию. В конце концов был признан наиболее удачным и практичным план Мартова. Он основывался на идее проезда через враждебную Германию. В качестве ответной услуги Германии предусматривался обмен на русских соответствующего числа немцев и австрийцев, интернированных в России. Роберта Гримма попросили установить связь со швейцарским правительством для организации такой акции по обмену. Тот факт, что эта идея была высказана меньшевиком, потом всегда подчеркивался в качестве желательного алиби. Троцкий дошел даже до того, что в своей биографии «Моя жизнь» утверждает, что Мартов отправился якобы вместе с Лениным через Гер-

¹⁶) Том 35 стр. 242 — Р е д.

манию. Он составил эту фразу так ловко, что неосведомленный читатель неизбежно должен прийти к такому выводу, хотя Мартов поехал лишь вторым поездом.

Последующие дни Ленин занимался тем, что в своих «Письмах издалека» давал партийной организации в Петербурге политические директивы и старался воздействовать на нее в своем духе. Первое письмо он отослал 20 марта. В нем он изложил свои мысли о «первом этапе первой революции», провел анализ осуществления революции и соотношения классовых сил на данном этапе. Его письмо содержало следующий призыв к рабочим:

«Рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского, народного героизма в гражданской войне против царизма. Вы должны проявить чудеса пролетарской и общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции»¹⁷⁾).

Ленин не предавался по поводу происшедшего ликованиею. Наоборот, он был весьма озабочен возможностью контрреволюции. В своих прозрениях он опирался на опыт Парижской коммуны и, помятуя о нем, составил листовку для русских военнопленных в Германии, в которой заклинал их не давать себя использовать в целях контрреволюции. В течение всей войны его жена Крупская вместе с Шкловским, а затем и с Сафаровым, поддерживала связь с разными лагерями военнопленных. Они переписывались с пленными, снабжали их газетами и посылками, а Ленин точнейшим образом анализировал ответные письма пленных, полные благодарности, чтобы узнавать из них о развивающихся настроениях в их среде. Его листовка, которую он теперь набросал, оказалась шедевром марксистской риторики, изложенным к тому же легким, понятным и народным языком.

СРЕДА, 21 МАРТА 1917 Г.

В течение этого дня ничего достойного упоминания ни у Ленина, ни у немцев не произошло. Поэтому воспользуемся перерывом, чтобы подробнее ознакомиться с тогдашним состоянием Ленина. Ленин жил в Цюрихе весьма уединенно. Большую часть времени он проводил в библиотеках, главным образом в Центральной библиотеке и в главном отделе социальной литературы (ныне Социальный архив), который в то время помещался на улице Зейлерграбен. После революции ленинское место вдруг осиротело.

¹⁷⁾ «Письма издалека. Письмо первое. Первый этап революции». Том XX, стр. 18. — Р е д.

Ленин также регулярно посещал собрания социал-демократической партии Цюриха, зарегистрированным членом которой он был вместе с другими десятью-пятнадцатью большевиками. На собраниях он никогда не выступал, но сидел всегда в первом ряду и был, по свидетельству Эрнста Нобса, самым внимательным слушателем. Он ограничивался тем, что поддерживал тесную связь с большевиками, проживавшими в других городах Швейцарии. Работал он также с небольшим кружком ведущих работников организации «Свободная молодежь», как, например, с Мюнценбергом, Мимиолой, Тростелем, Швейде и Брупбахером; изредка он приглашал их в маленькое кафе «К орлу» на закрытые доклады. Вначале, правда, приходило человек сорок, но, несмотря на то, что (как пишет Крупская) все присутствовавшие были интернационалистами, западную публику все-таки шокировала решительность Ленина, и как-то один из представителей «Свободной молодежи» высказался даже в том смысле, что нельзя, мол, лезть на рожон. Из-за этого дискуссионный кружок Ленина со временем стал таять, пока, наконец, в нем не остались одни лишь русские и польские большевики, рассказывавшие на собраниях друг другу анекдоты. Однако примерно в этот же период у Ленина укрепилась связь с руководителем «Свободной молодежи» Вилли Мюнценбергом и с секретарем социал-демократической партии Швейцарии Фрицем Платтенном.

В то время как Мюнценберг стал верным учеником Ленина и предоставил ему, Бронскому, Радеку и Зиновьеву место на страницах «Молодежного Интернационала» (Радек в то время писал под псевдонимом Арнольд Штрутхан), с Платтенном еще не создалось тесной духовной связи. Ленин называл его безнадежным случаем. По его мнению, лишь сильное движение в среде левых могло бы еще исправить Платтена, но и это было отнюдь не наверняка. Ленин писал Инессе Арманд:

«Платтен ничегошеньки не понял и не хочет учиться»¹⁸).

В конце же письма Ленин называет его бестолковым человеком. К тому же, Ленин не мог простить Платтену, что тот не выступил открыто в поддержку кандидатуры Бронского в президиум социал-демократической партии Цюриха.

Но и по отношению к таким близким соратникам, как Карл Радек, Павел Леви и Анри Гильбо, у Ленина было сильное

¹⁸) Написано 3 февраля 1917 г. Направлено из Цюриха в Кларан. Том 35, стр. 226-228. — Р е д.

предубеждение. Политику Радека он называл «обычной политической деклассированных элементов и всяческого сброда», а его самого — дураком, полудиотом и полуанархистом. Гильбо и Леви казались ему трусами, а Леви, кроме того, — и бестолковым человеком. Личная переписка Ленина того времени с Инессой Арманд рисует его человеком, беспринципно работающим с людьми, которых он презирал в глубине своей души и которых лишь использовал в качестве орудия для своих целей. Чистота идеологии была для него всем, а человек, взятый в отдельности, — ничем. Один только Зиновьев работал в то время целиком и полностью на длине «ленинской волны».

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 1917 Г.

Ленин снова отправляет письмо своему другу Карпинскому в Женеву. Ссылаясь на Бернское совещание русских политических партий 19 марта 1917 г., где большевики были представлены Зиновьевым, он пишет:

«План Мартова хорош¹⁹⁾: за него надо хлопотать, только *мы* (и Вы) не можем делать это прямо. *Нас* заподозрят. Надо, чтобы кроме Мартова беспартийные русские и патриоты русские обратились к швейцарским министрам (и влиятельным людям, адвокатам и т. п., что и в Женеве можно сделать) с просьбой *п о г о в о р и т ь* об этом с послом германского правительства в Берне. Мы ни прямо ни косвенно участвовать не можем; наше участие *испортит* все. Но план, сам по себе, *очень* хорош и *очень* верен»²⁰⁾.

Ленин подчеркивает слова «очень хорош и очень верен», но особо при этом отмечает, что нужно «*п о г о в о р и т ь*» (написано в разрядку) с немецким послом в Берне, т. е. призывает к соблюдению всех правил конспирации — не отдавать ничего написанного в чужие руки, к чему в будущем можно было бы хоть как-то придраться. Но в остальном — пожалуйста, без стеснений, и пробирайтесь прямо в берлогу зверя!

¹⁹⁾ «На совещании представителей русских политических партий в Женеве 19 марта 1917 г. Л. О. Мартов предложил план, заключавшийся в том, чтобы добиться пропуска политических эмигрантов в Россию через Германию в обмен на немецких интернированных граждан.

План этот живо обсуждался в эмигрантских кругах и в конце марта был принят ЦК РСДРП». Том XXIX, стр. 339. — Р е д.

²⁰⁾ Там же. — Р е д.

Остальную часть дня Ленин проводит в просмотре последних известий из России, причем лучшими источниками его информации являлись не только лондонский «Таймс», парижский «Тан», ведущие немецкие газеты, но и «Нойе цюрхер цейтунг». Он подвергал обстоятельному анализу соответствующие статьи и сообщения и использовал выводы из них в своем втором «Письме издалека», посвященном теме «Новое правительство и пролетариат».

В этом письме он так же бескомпромиссно выступает против малейших уступок по отношению к оборонческой позиции. Ленин понимал вред национализма и, казалось, пророчески ощущал, что происходит в головах революционеров в опьяненном воздухе свободы Петрограда. Лишь несколько дней спустя Каменев, только что вернувшийся из ссылки, написал в «Правде»:

«Но война будет продолжаться, так как немецкая армия не последовала примеру русской и все еще повинуетя своему кайзеру, который жаждет новых жертв на полях сражений, усеянных трупами. Когда армия стоит против армии, то самой нелепой политикой для одной из них было бы сложить оружие и пойти домой. Такая политика была бы не политикой мира, а политикой рабства, т. е. политикой, от которой свободный народ с возмущением отказался бы. Нет, он стойко останется на своем посту, будет отвечать пулями на пули и снарядами на снаряды. Этого не избежать. Революционный солдат или офицер, освободившийся от гнета царизма, не покинет окопа, чтобы уступить место немецкому или австрийскому солдату или офицеру, который не нашел еще в себе мужества избавиться от гнета своего правительства».

Эту позицию одобрял в то время и Сталин.

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 1917 Г.

Немецкий посол в Берне, барон Гизберт фон Ромберг, послал в Берлин, в министерство иностранных дел следующую телеграмму:

«Строго секретно! Федеральный советник Гофман узнал, что здешние известные революционеры изъявили желание вернуться в Россию через Германию, так как боятся пути через Францию из-за угрозы подводных лодок. Прошу директив на тот случай, если ко мне поступят подобные прошения».

В тот же день государственный секретарь Циммерман из министерства иностранных дел (в дальнейшем изложении МИД) переправил телеграмму в ставку верховного командования, добавив:

«Так как мы заинтересованы в том, чтобы влияние радикального крыла среди революционеров одержало в России верх, я считаю целесообразным, если понадобится, дать разрешение на проезд через Германию».

Ромберг послал вторую телеграмму в МИД, требуя директив, так как 25 марта ему предстоял важный разговор с Вейсом (Цивиным) — русским эсером, который уже в то время работал немецким агентом.

Ленин в свою очередь протелеграфировал своему северному связному Ганецкому в Христианию (ныне Осло):

«Телеграфируйте «Правде» с приложением обратного адреса. Только что читал выдержки из манифеста Центрального Комитета (во «Франкфуртер цейтунг»). Наилучшие пожелания! Да здравствует пролетарская милиция, подготовляющая мир и социализм!»²¹⁾.

СУББОТА, 24 МАРТА 1917 Г.

Ленин отправил свое третье «Письмо издалека», которому его жена Крупская придавала особое значение. Она говорила, что тот, кто хочет до конца понять труд Ленина «Государство и революция», должен предварительно прочесть его мысли о «Пролетарской милиции». Ленин писал о периодической работе в милиции (например, каждый пятнадцатый день). Таким образом, философски он уже обдумывал меры против возникновения «нового класса» в будущем государстве, хотя и блуждал в облаках утопии.

«Я не могу судить отсюда, из моего проклятого далека, насколько близка эта вторая революция»²²⁾.

Он предупреждал, что не следует верить маневрам и громким словам Гучкова и Милюкова («...Обещания — единственная вещь, которая очень дешева даже в эпоху бешеной дороговизны»), которые вынуждены «одной рукой давать уступки, другой отбирать их»²³⁾.

Лозунг Ленина был: организация пролетариата на самой широкой основе, распространение движения за советы, союз рабочего класса и сельскохозяйственных рабочих, крестьян-бедняков и крестьян-середняков, содействие и развитие социалистической революции на Западе.

«...И теперь не только англо-французские, но и немецкие капиталисты

²¹⁾ Перевод с немецкого. Том XXIX, стр. 340. — Р е д.

²²⁾ «Письма издалека. Письмо третье». Том XX, стр. 32. — Р е д.

²³⁾ Там же, стр. 33. — Р е д.

воюют от злобы и ужаса, — писал он, — видя, например, как русские солдаты расстреливали своих офицеров»²⁴).

Он видел в этом для рабочих и солдат путь к разрушению государственного механизма. Он советовал товарищам не увлекаться теоретическими «забавами» и требовал, чтобы теория была только руководством к действию.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 1917 Г.

Представитель германского МИДа при Главной квартире германского генерального штаба, секретарь посольства барон фон Лерснер телеграфировал министерству иностранных дел:

«Срочно! Со стороны Верховного командования армии против транзита русских революционеров возражений нет, если весь этот транспорт будет проведен при надежном сопровождении».

Это принципиальное решение было сразу передано Ромбергу, причем были обещаны дополнительные указания о порядке проведения транспорта.

Ленин написал Карпинскому в Женеву, дал ему точные директивы и спросил в постскриптуме:

«Поедете ли Вы и Ольга в Россию, если будет возможность, и когда? Кто еще поехал бы из Женевы?»²⁵).

О поддельном паспорте (Ленин в парике) и о том, что Карпинский должен скрыться в горах, не было больше речи. По-видимому, этот так и неиспользованный вариант был задуман лишь как «алиби».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА 1917 Г.

Ромберг получил от германского МИДа по телеграфу указания о транспортировке русских, где, среди прочего, говорилось:

«Своевременное сообщение о дате отъезда и список лиц должны быть представлены за четыре дня до пересечения границы. Возражения генерального штаба против отдельных лиц маловероятны. На всякий случай таковым гарантируется возможность возвращения назад в Швейцарию».

Кайзеровская Германия открыла свои двери даже раньше, чем в них как следует постучались! Немецкая основательность!

Ленин послал свое четвертое «Письмо издалека», в котором разбирал актуальнейший вопрос: «Как добиться мира?». В

²⁴) «Письма издалека. Письмо третье». Том XXIX, стр. 35-36. — Р е д.

²⁵) Том 35, стр. 247. — Р е д.

«Письме» он резко отчитал Горького, надеявшегося на достижение почетного (а не любой ценой) мира для России, грубо обозвав его мелкобуржуазным мещанином, которому лучше вообще не заниматься политикой!

Ленин противопоставил ему свою программу, опубликованную им в № 47 «Социал-демократа» от 13 октября 1915 года. Снова и снова он подчеркивал, что в случае захвата власти советами рабочих, крестьянских и солдатских депутатов они, во-первых, не будут чувствовать себя связанными никакими ранее заключенными договорами; во-вторых, опубликуют все заключенные до этого тайные грабительские договоры; в-третьих, предложат всем воюющим державам заключить немедленное перемирие; в-четвертых, в качестве условия мира потребуют освобождения всех колоний, угнетенных и находящихся в неравноправном положении народов; в-пятых, призовут пролетариев всех стран свергнуть буржуазные правительства и установить советскую власть; в-шестых, не признают миллиардные военные долги капиталистов.

Свою статью Ленин закончил так:

«...Вот за эти условия мира Совет Рабочих Депутатов, по моему мнению, согласился бы *вести войну* против *любого* буржуазного правительства и против *всех* буржуазных правительств мира, потому что это была бы действительно справедливая война, потому что *все* рабочие и трудящиеся *всех* стран *помогли бы* ее успеху.

Немецкий рабочий видит теперь, что воинственная монархия в России заменяется *воинственной* республикой, республикой капиталистов, желающих продолжать империалистическую войну, подтверждающих разбойничьи договоры царской монархии.

Судите сами, может ли доверять немецкий рабочий *такой* республике? Судите сами, удержится ли война, удержится ли господство капиталистов на земле, если русский народ, которому помогли и помогают воспоминания великой революции «пятого года», завоеует полную свободу и передаст всю государственную власть в руки Советов Рабочих и Крестьянских депутатов»²⁶).

Из пяти его писем — это самое важное. Оно показывает нам, что с октября 1915 года у Ленина была ясная политическая концепция и видение перспектив войны, мира и мировой революции, и всё это еще до начала революции в России.

²⁶ «Письма издадека. Письмо четвертое. Как добиться мира?». Том XX, стр. 45. — Ред.

ВТОРНИК, 27 МАРТА 1917 Г.

Ромберг послал с курьером подробный отчет о своем разговоре с социалистом-революционером Вейсом рейхс-канцлеру Бетману-Гольвегу и рекомендовал ему срочно «представить в распоряжение Вайса снова по меньшей мере 30 тысяч франков на апрель месяц». Его отчет в основном касался вопроса о том, как «укрепить пацифистское направление» в России.

Германский военный атташе в Берне майор фон Бисмарк получил из Цюриха донесение о том, что Ленин будет в этот день вечером читать доклад о русской революции. На докладе присутствовал агент «АВ 10», представивший после этого отчет. Доклад Ленина в «Народном доме» длился два с половиной часа и был опубликован в газете «Фольксрехт» № 77 от 31. 3. 1917 г. и в № 78 от 2. 4. 1917 г. Он представлял собой глубокий анализ современного распределения сил между классами и партиями в России и был выдержан в духе его «Писем издалека».

Германский МИД информировал Ромберга, что в Цюрихе появился Георг Скларц, чтобы, с согласия генерального штаба, сопровождать двух русских революционеров во время их проезда через Германию. (Георг Скларц — сотрудник военной разведки и адмиралтейства. Тесно связанный с Парвусом-Гельфандом, он вошел с капиталом в 40.000 марок компаньоном в торговую фирму последнего. Через нейтральную Данию эта фирма производила темные сделки с Востоком, причем управляющим фирмы был Якоб Фюрстенберг, он же Ганецкий, он же Куба — доверенное лицо Ленина.) Платтен называл Скларца «мальчишкой на побегушках у германского правительства» и свидетельствовал, что переговоры, в которые дважды вступал Ленин, Ленин вел не непосредственно с ним, а через Бронского. Контакт при этом устанавливался через подругу Бронского — «г-жу Д.». Когда Скларц якобы предложил даже деньги на поездку, Ленин резко оборвал все связи с этим «чересчур скомпрометированным лицом». Потеряв в Швейцарии несколько дней, Скларц сразу после этого, 29 марта, вернулся с докладом в Берлин.

СРЕДА, 28 МАРТА 1917 Г.

Ленин поехал с Зиновьевым, который также участвовал в переговорах со Скларцем, в Берн. Зачем? Вероятно, Зиновьев обсуждал вопрос с Робертом Гриммом и предложил ему поспешить после того, как накануне стало очевидным, насколько немцы заинтересованы в переброске Ленина и Зиновьева в Россию. Сам

Ленин на протяжении всех переговоров держался в тени, действуя через посредников. Из Берна он послал Ганецкому, который уже вернулся в Стокгольм, следующую телеграмму:

«Берлинское разрешение для меня неприемлемо. Или швейцарское правительство получит вагон до Копенгагена, или договорится об обмене всех русских эмигрантов на интернированных немцев»²⁷⁾.

Гримм со своей стороны передал швейцарскому федеральному министру Гофману пожелания созданного на месте «центрального комитета по возвращению на родину находящихся в Швейцарии политических беженцев из России». Комитет охватывал 560 человек, стоящих на Циммервальдской платформе, в то время как вокруг комитета русских социал-патриотов группировалось всего около 160 человек. Федеральный министр Гофман немедленно сообщил о заманчивых запросах дальше — Ромбергу. Поздно ночью Ромберг телеграфировал германскому МИДу, что эмигранты предлагают — в качестве ответной услуги — передать германскому правительству всех интернированных в России немецких граждан, а может быть, и военнопленных. Через федерального министра Гофмана и Гримма Ромберг ответил, что Германия в принципе не имеет против этого серьезных возражений. Для Ромберга трудность заключалась в том, что эмигранты не могли непосредственно обращаться к немцам, чтобы не компрометировать себя. Исходя из этих же соображений, и он не мог слишком открыто им помогать. Главное — дать эмигрантам ощущение, что им по мере возможностей хотят идти навстречу.

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА 1917 Г.

Хараш, один из внештатных сотрудников газеты «Нойе цурхер цейтунг», зимой 1920 г. в меморандуме Политическому департаменту (министерству иностранных дел Швейцарии) красочно описал бурную атмосферу тех дней:

«Сразу после революции новое Временное правительство послало из Петрограда проживающему в Женеве экономисту телеграмму с приглашением для всей русской колонии в Швейцарии вернуться в Россию и перевело для этой цели сумму в 180 тысяч франков, собранную частными лицами. В русской колонии тотчас же были созваны собрания, на которых обсуждался вопрос о том, как распределить эту сумму и о путях возвращения на родину. Запросы правительств Англии и Франции показали, что эти государства потребуют соблюдения всех паспортных формальностей

²⁷⁾ Перевод с немецкого. Том XXIX, стр. 345. — Р е д.

(например, получение виз через ответственного за это русского губернатора!), что было в данном случае совершенно невозможно, учитывая обрушившийся на Россию хаос и отвратительную работу почты. И всё же все партии, кроме большевиков, с негодованием отвергли даже самую мысль о возвращении на родину в разгар войны через вражескую территорию».

Ленина подобные угрызения совести не терзали. Он послал Карла Радека и Пауля Хартштейна (партийная кличка которого была Пауль Леви и который впоследствии был некоторое время вождем коммунистической партии Германии) к д-ру Дейхарду, корреспонденту «Франкфуртер цейтунг», с тем, чтобы они выяснили отношение Ромберга к предполагаемому транзиту через Германию.

Были, однако, и другие, «зондировавшие» почву у Ромберга. В этот день он послал рейхс-канцлеру Бетману-Гольвегу в качестве курьеров двух королевских фельдъегерей, из которых первый прибыл в Берлин 1 апреля, а второй — 2 апреля. Первый привез следующее донесение:

«Императорский генеральный консул в Базеле узнал из достоверных источников следующее: обосновавшиеся в Швейцарии — в Берне, Цюрихе и Женеве — русские комитеты социалистов и нигилистов обращаются к представителям немецких газет в Швейцарии с просьбой помочь им добиться через немецкие газеты, чтобы Германия не начинала наступления против России, поскольку это может помешать мирным планам указанных комитетов».

Второй курьер привез донесение о том, что издатель «Тагесанцейгер» и директор швейцарского пресс-телеграфа г. Вальц обратил внимание на русского по имени Семковский (бывшего секретаря Пауля Аксельрода), который, по поручению пребывающих в Цюрихе 160 эмигрантов, пытался выяснить, как обстоит дело с возможностью проезда через Германию.

Ромберг ответил, что следует в расплывчатой формулировке — дескать, «немецкие журналисты говорят» — дать понять эмигрантам, что препятствий к этому в принципе нет.

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА 1917 Г.

Ленин метался, как тигр, запертый в клетке. В отчаянии он писал своему другу Инессе Арманд:

«...В Россию, должно быть, не попадем!! Англия не пустит. Через Германию не выходит»²⁸).

²⁸) Том 35, стр. 248. — Р е д.

Но он не отступал от своего плана и послал телеграмму Ганецкому в Стокгольм:

«Ваш план неприемлем. Англия никогда меня не пропустит, скорее интернирует. Милуков надует. Единственная надежда — пошлите кого-нибудь в Петроград, добейтесь через Совет Рабочих Депутатов обмена на интернированных немцев. Телеграфируйте»²⁹).

Газета «Фольксрехт» в этот день опубликовала заметку Ленина, в которой он жаловался на то, что немецкие газеты передали посланную им 19 марта в Скандинавию телеграмму в искаженном виде. Он уточнял текст телеграммы и свою точку зрения.

Одновременно Ленин послал длинное письмо Ганецкому. В нем он писал:

«От всей души благодарю за хлопоты и помощь. Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю «Колокола» я, конечно, не могу»³⁰).

Под этими людьми он подразумевал Парвуса-Гельфанда и его сотрудника Скларца. От рискованного плана пробраться нелегально до русской границы с Зиновьевым в роли «глухонемого шведа» он отказался. В своем письме Ленин подверг резкой критике товарищей Муранова, Каменева и других, которые вели в Петрограде примиренческую, противоречащую его позиции политику, даже выступали за оборону страны, чем грозили погубить весь его замысел.

Если бы это письмо прошло через цензуру немцев (на что Ленин, по всей видимости, и рассчитывал), то они попались бы на его удочку. Неспособные понять тонкостей большевистской стратегии и тактики, они могли бы, например, с восторгом вырвать из текста следующие фразы и подумать: «Ленин — наш человек!». Я цитирую:

«...Ясно, что злейшего врага хуже английских империалистов русская пролетарская революция не имеет. Ясно, что приказчик англо-французского империалистического капитала и русский империалист Милуков (и Ко) способны пойти на всё, на обман, на предательство, на все, на все, чтобы помешать интернационалистам вернуться в Россию»³¹).

Или:

«...Освободить угнетенные великороссами народы *полностью*, вывести войска из Армении и Галиции *тотчас* и т. д.»³²).

²⁹) Перевод с немецкого. Том XXIX, стр. 346. — Р е д.

³⁰) Том XX, стр. 52-55. — Р е д.

³¹) Там же. — Р е д.

³²) Там же. — Р е д.

Или:

«Отсюда ясно, что лозунг: мы защищаем теперь в России, мы ведем теперь «оборонительную войну», мы будем воевать с *Вильгельмом*, мы воюем за свержение Вильгельма, есть величайший обман, величайшее надувательство рабочих!!»³³).

Это звучало действительно как музыка для генерального штаба, который рассчитывал насаждением большевистской бактерии добиться окончательной победы и превратить Германию в мировую державу. Разыгрывалась грандиозная азартная игра: на одной стороне — германский кайзер, на другой — Ленин, проживающий в Цюрихе у сапожника Каммерера.

Между тем капитан фон Гюльзен, занимавший в генеральном штабе пост шефа секции «Политика Берлин», послал в министерство иностранных дел сообщение о рапорте Скларца. Он представил контрпредложение Ленина отправить всех русских эмигрантов из Швейцарии специальным поездом через Германию в Россию. Скларц и фон Гюльзен считали выгодным для Германии провезти через территорию своего государства сторонников ленинской партии (большевиков), а также максималистов (левых социал-революционеров), всего около 40 человек. Среди них должны были находиться Ленин, Рязанов, Семенов, Григорьев, Абрамов, Мария Гутштейн и Дора Долина. Скларц предоставил себя в распоряжение для дальнейшей связи и посредничества.

СУББОТА, 31 МАРТА 1917 Г.

В то время, когда в Берне заседал центральный комитет группы русских эмигрантов, который пришел к заключению, что возвращение на родину через Англию невозможно, так как Англия не пропустит противников войны, даже если их бумаги будут в порядке, в германском генеральном штабе шли переговоры специалистов, которые, в свою очередь, сомневались в том, что финские пограничные власти пропустят людей, настроенных против войны, если их даже будут сопровождать английские офицеры. Следовало с самого начала избегать компрометации едущих оказанием им слишком явной помощи.

Ромберг послал в МИД телеграмму, в которой просил не тратить драгоценного времени в переговорах со шведским правительством. Он намеревался предложить Гримму составить списки едущих тотчас. Эмигранты, по возвращению на родину, наверняка

³³) Том XX, стр. 52-55. — Р е д.

примут меры для освобождения интернированных немцев. Для передачи телеграммы в Берлин потребовалось четыре часа, и в 17 ч. 20 мин. она была доставлена в МИД. Обратной почтой была отправлена телеграмма, содержащая следующее решение:

«С последней фразой согласны». Подпись — статс-секретарь Циммерман.

Вскоре после этого была прислана еще одна телеграмма о том, что проезд желательно осуществить как можно скорее, так как Антанта уже начала противодействовать этому.

Около полуночи Ленин послал телеграмму Гримму:

«Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских эмигрантов через Германию и тотчас же организовать эту поездку. Мы насчитываем уже сейчас более, чем десять путешественников.

Мы абсолютно не можем отвечать за дальнейшее промедление, решительно протестуем против него и едем одни. Убедительно просим немедленно закончить переговоры и, если возможно, завтра же сообщить нам решение.

С благодарностью *Ленин*, Зиновьев, Ульянова»³⁴).

Через какие каналы узнал Ленин о согласии статс-секретаря Циммермана?

В тот же вечер Ленин и Зиновьев от имени заграничного представительства ЦК РСДРП(б) послали заявление меньшевику Мартову и левому социал-революционеру Боброву (Натансону) о своем решении принять предложение Гримма проехать в Россию через Германию. Это решение объяснялось в шести пунктах.

Во-первых, Гримм, который вел предварительные переговоры через федерального министра Гофмана, считает невозможным официальное вмешательство Швейцарии, так как английское правительство рассматривало бы это как нарушение швейцарского нейтралитета.

Во-вторых, предложение Гримма вполне приемлемо, так как проезд для эмигрантов любого направления, независимо от их отношения к войне и миру, гарантирован.

В-третьих, эмигранты примут меры для их обмена на интернированных немцев.

В-четвертых, это единственный реально осуществимый путь.

В-пятых, все другие группы уже подготовлены к тому, чтобы немедленно принять это предложение.

В-шестых, к сожалению, приходится констатировать колеба-

³⁴) «Национальному советнику Гримму». В Берн. Перевод с немецкого. Том XXIX, стр. 347. — Ред.

ние в этом вопросе некоторых групп, что наносит величайший вред революционному движению.

Принимая всё это во внимание, большевики решились на немедленный отъезд и дали распоряжение: «Всем, кто в этой поездке хочет нас сопровождать, включиться в список». Копии этих решений будут разосланы представителям всех групп.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ 1917 Г.

Ни Ленин, ни Ромберг не предпринимали никаких шагов. Правда, Ленин накануне просил Гримма немедленно войти с ним в контакт и ждал его звонка. В Ленинском институте в Москве существует написанная неизвестной рукой по-немецки копия этой телеграммы, на которой Ленин по-русски сделал заметку: «Послано в субботу 31. 3. вечером и получено Гриммом 1. 4. утром». Значит, он ожидал от Гримма и Ромберга работы в воскресенье для своей крохотной группы, состоящей «теперь уже более чем из десяти едущих».

Гримму по политическим соображениям хотелось отделаться от всей этой «русской сволочи», так как Ленин, Зиновьев и Bronский, не говоря уже о поляке Радеке, оказывали сильное влияние на Вилли Мюнценберга и на его группу «Социалистическая молодежь». Но резкость ленинского ультиматума насторожила его. На этот раз слишком явно планировалась специальная акция, и Гримм, знавший ум и осторожность Ленина, интуитивно ощутил за ней планы Германии. Гримм, сам уже давно предпринимавший шаги для подготовки мира, желал как президент Циммервальдского движения увенчать свои честолюбивые планы личным успехом и был особенно чувствителен к подобным политическим интригам. Он решил временно положить это дело под сукно. Таким образом, воскресный отдых Ромберга не был нарушен.

Парвус-Гельфанд меж тем навестил в Копенгагене своего покровителя, немецкого посла Брокдорфа-Рантцау, с которым у него состоялся длинный принципиальный разговор о России и о той стратегии и тактике, с помощью которых можно было бы ее парализовать. Ниже я расскажу об этом подробнее.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ 1917 Г.

По всей вероятности, Мартов показал Гримму письмо с решением Ленина ехать через Германию в Россию, которое он получил накануне. Гримм рассердился и написал опровержение секретарю цюрихского комитета возвращенцев Багоцкому. Он был крайне

возмущен (или делал вид) тем, что в письме Ленина упоминалось о бундесрате Гофмане, и резко осудил его за неосторожность. Гримм заявил, что Политический департамент не может быть замешан в такое предприятие, не вызывая при этом обвинения с другой стороны в нарушении нейтралитета. Он сам, мол, предлагал 30 марта заместителю Ленина обратиться через Керенского к Временному правительству и объяснить ему невозможность возвращения через Англию с тем, чтобы получить от него разрешение ехать через Германию. Свою миссию он считал оконченной, пока не поступит санкция от Временного правительства или Петроградского совета. Остальные группы эмигрантов тоже высказались по поводу ленинского письма и были того мнения, что надо дожидаться разрешения обмена русских эмигрантов на интернированных немцев. Они считали решение большевиков ехать без разрешения Временного правительства политической ошибкой, пока не будет доказана невозможность получить такое разрешение.

В результате получилось так, что и 2 апреля Ромберг напрасно прождал появления представителя эмигрантов. А следовало торопиться, поскольку в этот день Соединенные Штаты Америки сообщили о своем намерении объявить войну Германии.

Между тем у Брокдорфа-Рантцау в Копенгагене состоялся разговор с датским министром иностранных дел Скавениусом, во время которого он обсудил с ним свою концепцию русского вопроса. После чего он изложил свои мысли в письменном виде и отослал меморандум в Берлин. Ниже я еще вернусь к этому вопросу.

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ 1917 Г.

В Берлине начальник Политического отделения Берлин генерального штаба фон Гюльзен оказывал давление на МИД и требовал от посла фон Бергена форсирования дела о транзите русских. Дело, пущенное в ход рапортом Скларца, находилось теперь в компетенции графа Пурталеса, который с 1908 г. по 1914 г. был немецким послом в Петербурге, а теперь — начальником русского отдела в МИДе. Он в свою очередь ждал дальнейших новостей из Берна. Утром Ленин узнал о разоблачениях Гримма и пришел в ярость. Теперь надо было спешно действовать! Через Радека он велел Платтену позвонить в 11 часов в секретариат партии и затем в 13.30 отправиться в «Ейнтрахт». Там Ленин, Радек, Мюнценберг и Платтен уединились для сугубо секретного разговора в маленькую комнату президиума. Ленин бросал на ходу короткие фразы

и сердито шагал взад и вперед по комнате. «Мы должны ехать хотя бы и через ад», — сказал он и предложил кандидатуру Мюнценберга для переговоров с Ромбергом. Но Мюнценберг отклонил предложение, так как, будучи немецким дезертиром, считал, что не подходит для этой роли. После короткого раздумья Платтен согласился взять эту миссию на себя. Затем все четверо встретились внизу, в ресторане, с Крупской, Бронским, Зиновьевым и его женой Зиной Радомыльской.

В 3 часа все, кроме Бронского и Мюнценберга, отправились поездом в Берн, где жил Зиновьев. Ленин остановился в бернской гостинице «Фольксхаус». Туда же был вызван по телефону и Гримм; после короткого и резкого разговора между ними произошел полный разрыв отношений. В комнате отеля, где остановился Ленин, были сформулированы условия поездки, о которых Платтен должен был сообщить Ромбергу. Ленин высказал пожелание, чтобы с ними поехал и поляк Радек; нужно было лишь найти подходящую формулировку, которая сделала бы возможным проезд нерусского Радека в Скандинавию. Ленин хотел, чтобы Радек вместе с Ганецким и Воровским (который впоследствии в 1923 году был убит Конради в Лозанне) организовали заграничное бюро большевиков в Стокгольме, чтобы оттуда иметь возможность лучше поддерживать международные связи.

Еще до разговора Платтена с Ромбергом Ленин назначил день отъезда на 4 апреля и, в связи с этим, отправил одно письмо в цюрихскую секцию большевиков, а другое — Карпинскому в Женеву. В первом письме Ленин писал:

«...От себя добавлю, что я считаю сорвавших общее дело меньшевиков мерзавцами первой степени, «боящихся» того, что скажет «общественное мнение», т. е. социал-патриоты!!! Я еду (и Зиновьев) в о всяком случае.

Выяснить точно, (1) кто едет, (2) сколько денег имеет.

Писать это тотчас Радомыльскому, Neufeldstr. 27, Bern.

Мы имеем у ж е фонд свыше 1.000 frs. на поездки. Думаем назначить среду, 4 апреля, как день отъезда.

Паспорта у русского консула брать в с е м, по месту жительства т о т ч а с »³⁵).

В сочинениях Ленина датой отправки значится 2 и 3 апреля. Данные о дате совещания в «Ейнтрахт» также варьируют в литературе между 2 и 4 апреля. Я вернусь к этому вопросу в заключении.

³⁵) Том XXIX, стр. 348. — Р е д.

Вечером Ромберг составил в пессимистическом духе телеграмму для МИДа:

«Хотя я разными каналами сообщил эмигрантам о нашей готовности и мне неоднократно обещали посещение их представителя, никто еще не вошел со мной в связь, вероятно, из страха скомпрометировать себя в Петербурге. Одни, во всяком случае, хотят дожидаться инструкций петербургского правительства или Комитета рабочих, другие еще колеблются, воспользоваться ли нашим предложением или нет. Думаю, что нам остается только ждать. Может быть, немецкие социалисты могли бы связаться с эмигрантами».

Ромберг датировал эту телеграмму 3 апреля, отослана же она была только 4 апреля в 9 ч. 45 мин. Этот факт доказывает, что до сего времени ни Гримм, ни Платтен к нему не являлись.

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ 1917 Г.

В Мюнхене друг и сотрудник Парвуса-Гельфанда посетил прусского посла фон Трейтлера и просил его позаботиться в МИДе, в берлинском отделе политики генерального штаба об ускорении выезда русских революционеров на родину. Это был социал-демократ д-р Адольф Мюллер, позже прослуживший германским послом в Швейцарии с 1919 по 1933 год.

Утром Платтен был принят Ромбергом и представил ему следующие условия поездки Ленина и Зиновьева (или, как телеграфировал Ромберг, *Lehnin und Sinowieff. Sic!*):

1. Я, Фриц Платтен, сопровождаю за полной своей ответственностью и за свой риск вагон с политическими эмигрантами и беженцами, возвращающимися через Германию в Россию.

2. Сношения с германскими властями и чиновниками ведутся исключительно и только Платтенем. Без его разрешения никто не в праве входить в вагон.

3. За вагоном признается право экстерриториальности. Ни при въезде в Германию, ни при выезде из нее никакого контроля паспортов или пассажиров не должно производиться.

4. Пассажиры будут приняты в вагон независимо от их взглядов и отношений к вопросу о войне или мире.

5. Платтен берет на себя снабжение пассажиров железнодорожными билетами по ценам нормального тарифа.

6. По возможности, проезд должен быть совершен без перерыва. Никто не должен ни по собственному желанию, ни по приказу покидать вагона. Никаких задержек в пути не должно быть без технической к тому необходимости.

7. Разрешение на проезд дается на основе обмена на германских или австрийских военнопленных или интернированных в России.

8. Посредник и пассажиры принимают на себя обязательство персонально и в частном порядке добиваться у рабочего класса выполнения пункта 7-го.

9. Наивозможно скорое совершение переезда от Швейцарской границы к Шведской, насколько это технически выполнимо»³⁶⁾.

О содержании своего разговора с Платтенем Ромберг послал в МИД в 17 ч. 35 мин. телеграмму на 400 слов, которая прибыла туда в 19 ч. 20 мин. Вышненазванные условия были, однако, одобрены лишь 5 апреля и 6 апреля представлены непосредственно рейхс-канцлеру Бетману-Гольвегу, так как по пункту второму мнения Платтена и Ромберга разошлись.

Ромберг горячо приветствовал отправку транспорта и написал по этому поводу:

«Если мы окажем им полное доверие, мы создадим у них благоприятное настроение; полезней всего мне кажется тот факт, что мы оказываем доверие швейцарским социалистам и считаем их гарантии достаточными. Они это высоко оценят, и надо надеяться, что, таким образом, мы сможем установить с ними постоянные отношения, чрезвычайно ценные для наших связей с Россией».

Далее он сообщил, что якобы Платтен собирается ехать в Стокгольм для организации там службы информации.

Впрочем, Платтен во время этой встречи избегал политических разговоров и написал об этом следующее:

«К концу аудиенции господин Ромберг спросил меня, в какой форме я представляю себе осуществление первых шагов к заключению мира. Я был этим неприятно удивлен и возразил, что мой мандат уполномочивает меня регулировать лишь чисто технические вопросы, поэтому я не могу ответить на его вопрос. Господин Ромберг заметил на это, что господин Гримм имеет уже на этот счет весьма определенное суждение. Я промолчал и удалился».

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ 1917 Г.

Помощник статс-секретаря фон Штумм передал Ромбергу по телеграфу предварительное согласие немецкого генерального штаба: Ленину обеспечивался проезд без контроля паспортов, пересылка багажа в запломбированном виде и полная безопасность

³⁶⁾ Том XX, стр. 605. — Р е д.

в пути. Предвиделось, что в Готтмадингене к ним присоединится немецкий профсоюзный лидер, социалист Янсон.

Ромберг послал Бетману-Гольвегу оба номера газеты «Фольксрехт» с докладом Ленина, прочитанным им 27 марта, причем статс-секретарь Циммерман приписал от руки на сопроводительном документе: «Почему об этом не телеграфировали сразу?» Циммерман телеграфировал представителю МИДа в ставку Верховного командования, предлагая назначить заведующим транспортом тактичного офицера с достаточным пониманием политических вопросов, чтобы эмигранты не подвергались без нужды портящим им настроение надоеданиям.

Ленин же с нетерпением телеграфировал Ганецкому:

«У нас непонятная задержка. Большевики требуют санкции Совета Рабочих Депутатов. Пошлите немедленно в Финляндию или Петроград кого-нибудь договориться с Чхеидзе, насколько это возможно. Желательно мнение Беленина (Шляпникова — Н. Ф. П.). Телеграфируйте «Народный Дом» Берн»³⁷⁾.

С одной стороны, Ленин пытался увеличить состав своей группы, но, как пишет Крупская, группа «Вперед» отказалась от поездки (Луначарский, Мануильский и др.). С другой стороны, он отказался взять с собой двоих русских военнопленных, которые несколько месяцев назад переплыли Боденское озеро, мотивируя это тем, что, мол, «неизвестно еще, как всё пройдет, может случиться, что всех нас арестуют». Об одном из этих беглецов Крупская рассказывает:

«Его интернировали и направили на земляные работы, и он удивлялся, насколько запуганы швейцарские рабочие. 'Вот иду я, — рассказывал он, — в контору получать свой заработок и вижу, стоят швейцарские рабочие перед дверью и не решаются войти, жмутся по углам и глазают от неловкости в окно. Что за забитый, запуганный народ! Я прихожу, открываю дверь, вхожу в контору — ведь я деньги за свою работу беру'».

Этот крестьянин из центральной чернозёмной полосы, только вот-вот научившийся писать и читать, удивлявшийся запуганности швейцарских рабочих, чрезвычайно интересовал Ленина. Почему Ленин не взял с собой этого крестьянина Михалева, хоть тот и был ему симпатичен? Боялся ли он, что Михалев подкуплен немцами? Во всяком случае, ясно одно, что Ленин подбирал себе попутчиков весьма тщательно, и создававшаяся группа была более сплоченной, чем могло показаться на первый взгляд.

³⁷⁾ Перевод с немецкого. Том XXIX, стр. 350. — Ред.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ 1917 Г.

Ромберг передал немецкому генеральному консулу в Женеве строго доверительное поручение:

«Секретарь швейцарской социалистической партии Платтен явится завтра около девяти часов дня в паспортное бюро для получения визы на проезд через Германию в Швецию и обратно. Прошу выставить ему визу через Готтмадинген — Саснитц без соблюдения обычных формальностей. Прошу отпустить господина Платтена как можно быстрее и незаметнее; если же он не придет до обеденного перерыва, оставьте чиновников в бюро для обработки его дела».

Ленин к этому времени уже собрал и подготовил к отъезду двадцать человек. Платтен просил Ромберга позаботиться обо всем необходимом для проезда через Швецию. Многие из группы просили разрешения ехать из-за недостатка средств третьим, а не вторым классом. Ромберг передал эти пожелания по телеграфу дальше, в МИД и уточнил, что второй пункт соглашения должен проводиться в жизнь в соответствии с формулировкой Ленина. Кроме того, нежелательно упоминание о поездке в прессе. Он хотел бы переложить отъезд на вечер в воскресенье, чтобы к едущим могли бы присоединиться и другие видные социал-революционеры. «Одновременное появление руководителей обеих партий могло бы произвести в России большое впечатление и весьма способствовать заключению мира».

В этот день Соединенные Штаты Америки объявили войну Германии.

В двенадцать часов дня Гильбо получил в Женеве телеграмму Ленина:

«Выезжаем завтра в полдень в Германию. Платтен сопровождает поезд, просьба прибыть немедленно, мы покрываем расходы. Привезите Ромена Роллана, если он в принципе согласен. Сделайте всё возможное, чтобы привезти с собой Нэна и Грабера. Телеграфируйте «Народный Дом».

*Ульянов*³⁸⁾.

За несколько дней до этого Карпинский предупредил Гильбо, чтобы тот был готов оказать важную услугу Ленину. Гильбо не удалось уговорить приехать Нэна и Грабера. Ромен Роллан также сразу отказался. «Поезжайте-ка в Берн, — сказал этот великий борец за взаимопонимание народов, — и настоятельно просите ваших друзей не ехать через Германию. Какой вред вы нанесете пацифизму и самому себе, если это сделаете! Вспомните, что го-

³⁸⁾ Перевод с французского. Том XXIX, стр. 351. — Ред.

ворилось и писалось о коммунарах!» Гильбо не ожидал такого резкого отказа Роллана и не стал его уговаривать. Случайно к нему зашел французский интернационалист Лорио. Гильбо взял его с собой в Берн и представил Ленину. Они вместе поужинали. А поздно ночью собрались: Ленин, Зиновьев, Радек, Лорио и Гильбо. Инесса Арманд прочла им на немецком и французском языках оправдывающий (проезд через Германию. — Р е д.) протокол, который они должны были подписать.

СТРАСТНАЯ СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ 1917 Г.

Во время завтрака Лорио задал Ленину ряд вопросов о его революционной программе и планах на тот случай, если его партия придет к власти. После этого Лорио с Гильбо отправились в Женеву, где Лорио встретился с Анжеликой Балабановой, которая резко осудила его за то, что он подписал протокол Ленина; по ее мнению, он себя этим скомпрометировал.

Каково же было содержание этого заявления? В нем говорилось о том, как трудно эмигрантам попасть в Россию. Далее подписавшиеся подтверждали, что они

«вполне отдают себе отчет в том, что немецкое правительство согласилось на проезд русских интернационалистов через Германию лишь в надежде поддержать и усилить антивоенные настроения в России. Подписавшиеся заявляют, что русские интернационалисты, боровшиеся в течение всей войны против империализма и главным образом против немецкого империализма, хотят вернуться в Россию, чтобы служить революции; что этим актом они помогут пролетариату всех стран—прежде всего, пролетариату немецкому и австрийскому—начать революционную борьбу против своих правительств; что пример героической борьбы русского пролетариата является лучшим и сильнейшим стимулом для этого, и что по всем этим причинам нижеподписавшиеся интернационалисты Швейцарии, Франции, Германии, Польши, Швеции и Норвегии считают своих русских товарищей не только вправе, но и обязанными воспользоваться предоставленной им возможностью вернуться в Россию. Вместе с тем мы выражаем им наши наилучшие пожелания в их борьбе против империалистической политики русской буржуазии, в борьбе, которая составляет часть всеобщей борьбы рабочего класса за социалистическую революцию».

Подписано: Пауль Гартштейн (Леви), Германия; Анри Гильбо, Франция; Ф. Лорио, Франция; Бронский, Польша; Фриц Платтен, Швейцария.

Ромберг получил от МИДа согласие на девять условий Ленина, за исключением второго пункта, так как просьба по хода-

тайству немецких профсоюзов была уже удовлетворена, по поручению которых сопровождать транспорт должен будет Янсон. Платтен настаивал на формулировке Ленина, и Ромберг не сопротивлялся.

Статс-секретарь Циммерман из МИДа обратился к немецкому послу в Стокгольме барону Луциусу фон Штётдену с просьбой ходатайствовать перед шведским правительством о том, чтобы были предприняты необходимые меры для проезда через Швецию. Циммерман ждал телеграмму о реакции шведов на немецкое предложение.

В свою очередь Ромберг послал Бетману-Гольвегу отчет военного атташе Бисмарка, агент которого следующим образом описывал картину настроений среди эмигрантов: революция не может развиваться из-за отсутствия у революционеров практического и идеологического водительства; так, например, возвращение из ссылки пяти большевистских депутатов Думы всё еще задерживается, а идеологические вожди движения, как, например, Ленин и другие, еще находятся за границей. Чего от них можно ожидать в смысле заключения мира с того момента, как они получают возможность включиться в революционное движение, видно из характеристики Корнблума, который заявляет, что они целиком и полностью разделяют взгляды Либкнехта.

(Окончание следует)

О повести «Котлован» А. Платонова

«...нравственность сынов, сознающих утрату, свое сиротство, и только в исполнении долга к отцам находящих свое благо».

Н. Федоров

Повесть «Котлован» Андрей Платонов написал еще в тридцатых годах под впечатлением происходивших тогда коллективизации и раскулачивания. В Советском Союзе она так и не увидела свет, а вышла за границей лишь в 1969 году (см. «Грани» № 70).

Когда-то Борис Пастернак определил, как должно писать о недавнем прошлом России:

«Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы. Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще... не только бессмысленно и бесцельно, писать так — низко и бессовестно»¹).

Повесть «Котлован» в полной мере соответствует этому требованию Бориса Пастернака. Написана она поистине ошеломляюще. Общее впечатление мрачное, даже гнетущее. И читать «Котлован» нелегко. Разбирать его — того труднее. Может быть, именно потому до сих пор не появилось за границей в печати настоящей критики на это произведение. В Советском же Союзе критики о «Котловане» Платонова лишь упоминают, воздерживаясь от комментариев (поскольку они его официально не читали). Но об этой повести в России будут еще писать и писать, когда это станет возможным, не только литературоведы, но и языковеды: язык Платонова неповторим, стиль его — неподражаем.

Я читал и перечитывал «Котлован». Много думал о нем. Эта повесть настолько многогранна, что охватить ее вообще чрезвычайно трудно, а в одной статье — просто невозможно. И я хочу

¹) Борис Пастернак. Проза 1915-1958. Повести, рассказы, автобиографические произведения. The Univ. of Michigan Pr., Ann Arbor. 1961. Т. 2, стр. 52.

коснуться здесь лишь небольшой, но, как мне кажется, внутренней значительной ее части, хочу попытаться раскрыть лишь один ее аспект.

Однажды я прочел выдержку из трудов академика Павлова:

«Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение. Он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь только для того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели... Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делаются рефлексом цели, делаются только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели».

И вдруг тема о смысле жизни, до сих пор хоть и неотвязно, но глухо звучавшая для меня в «Котловане», привлекла мое внимание. Я заметил, что в «Котловане» смысл жизни связан с мертвыми, их воскресением... И я понял: Платонов в своих произведениях развивает учение русского философа XIX века Николая Федоровича Федорова, который некогда оказал большое влияние на В. Соловьева и был высоко ценим Достоевским и Толстым. Вспомнились мне «Эфирный тракт», «Река Потудань» и другие рассказы и повести Платонова, написанные также в духе и умонастроениях философа Федорова, и сразу повесть «Котлован», казавшаяся до того произведением мрачным, показалась бодрой, возвышающей дух.

Ткань повествования «Котлована» сплетена из разных нитей, которые ведут начало от тем: смысл жизни человека, смерть и воскрешение человека, исторический путь России, советская действительность, свобода и принуждение и другие. Темы эти сложно переплетены между собой, концы их глубоко запрятаны и, хотя темы развиваются от начала до конца повести, мы ощущаем их, главным образом, во взаимном сочетании и в балансе равновесия различных тем.

Три фактора обуславливают композиционную сложность повести:

1. Она писалась во времена строжайшей цензуры, и если даже автор не надеялся ее напечатать, а писал для себя, всё равно, как бы искренне он ни хотел писать, он должен был соблюдать хоть некоторую предосторожность в виде усложненной формы изложения и словесных оборотов.

2. Множество тем и их значительность.

3. Философия Николая Федорова, чьим последователем, в той или иной мере, был Андрей Платонов, очень сложна и нелегко воспринимается сознанием.

(Когда-нибудь всё же появится возможность воспроизвести полную биографию Платонова, и тогда, наверное, выяснится, что Платонов и в жизни своей следовал «супраморальным» — выражение Федорова — убеждениям. Иначе трудно объяснить, почему так многие любили Платонова — скромного человека, гонимого властью писателя.)

Чтобы пояснить свою мысль о влиянии Федорова на Платонова, остановлюсь на основных положениях Федорова.

Федоров был убежден, что сила христианства еще не выявлена. Он считал, что Господь Иисус Христос Своим воплощением и воскресением дал полную возможность счастья уже здесь, на земле. Федоров верил, что:

Зло, которое мучит людей, «никакими общественными перестройками не может быть устранено — зло лежит гораздо глубже в самой природе, — в ее бессознательности».

По Федорову — главное для каждого человека:

«найти... смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда сама собой уничтожится вся путаница, вся бессмыслица современной жизни».

Обратим внимание на то, что Федоров веру в Бога воспринимал не как «мировоззрение», а считал «активным проектом должествующего быть... Древо крестное объединяет всех в обращении знания в дело».

Федоров глубоко верил в силы человека и в то, что творчески человек должен быть «соратником Богу».

Самая большая трагедия в жизни — смерть. Воскресение Христово и воскресение всех мертвых — главная тема христианства. Утверждая, что человечество призвано быть орудием Божиим в спасении мира, Федоров считал, что через достижения науки человек призван стать «хозяином» вселенной, и спасение безграничной вселенной произойдет на «такой ничтожной пылинке, как земля».

«Всё вещество есть прах предков», и через развитие науки надо достигнуть «управления всеми молекулами и атомами мира — чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, то есть сложить в тело отцов», — писал Федоров.

Чем больше ценил Федоров творческие силы человека, тем яснее ощущал он, что путь к раскрытию этих сил — любовь. Всё, что не связано с желанием конкретного добра другим, превращается в разрушительную силу. Федоров утверждал: «Жить

нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех».

«Котлован» видится мне как иллюстрация к учению Федорова, преломление его в современной жизни, почему и действительность изображена там не в том аспекте, к которому привык читатель. Так, например, нет в повести неприязненного чувства к мертвым, нет отворачивания к грязи, к тлению («боголепное тление», по выражению Федорова).

«Пусть хранят ее (покойницу, мать девочки Насти. — А. А.) здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой...»²⁾ — пишет Платонов.

Землю Платонов ощущает как прах всего прежде жившего, прах своих предков. И смерть не страшна из-за твердой его уверенности, что всё прежде жившее восстанет, воскреснет. Людей ведь х о р о н я т, то есть лишь прячут в землю, и каждому провозглашается в е ч н а я память после смерти.

Но если чувство смерти не пугает Платонова, то чувства жалости, сострадания к человеку у него обострены до предела. И этими чувствами пронизана вся повесть. Жалость и сострадание распространяются и на скончавшихся людей, и на предметы, оставшиеся после них, и на «умершую» часть природы.

Когда рабочий Чиклин завалил дверь, ведущую в последнее убежище умершей матери Насти, инженер Прушевский спросил его, зачем он так старается?

«— Как зачем? — удивился Чиклин. — Мертвые тоже люди.

— Но ей ничего не нужно.

— Ей — нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!»³⁾

Эта тема — тоска по безвестно погубленным, умершим людям, по неиспользованной до конца силе и энергии всех живых существ — звучит как основной фон повествования.

«Умерший, палый лист лежал рядом... и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Воцев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. 'Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал

²⁾ Стр. 46. Все цитируется по журналу «Г р а н и» № 70, 1969 г. В дальнейшем будут указаны только страницы. — А. А.

³⁾ Стр. 47.

Воцев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить»⁴).

И несколько раз Платонов в «Котловане» возвращается к тому, как Воцев собирает всякие «неживые» предметы и засовывает их в свой мешок, при этом разговаривая с ними, как с живыми:

«Воцев... со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших подобно ему без истины и которые скончались ранее победного конца»⁵).

Воцев участвует в ходе событий от начала и до конца повести. Но он не герой, он как бы свидетель происходящего: ищущий смысла жизни, истины, горюющий, тоскующий, сомневающийся...

«— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значенья жизни и ослаб», — говорит Воцев окружающим его рабочим⁶).

Думается, в Воцeve автор передает нам свои ощущения — тоски, бесконечной грусти среди расхищения, уничтожения дорогого прошлого.

Но параллельно с тоскою всё повествование «Котлована» пронизывает острая сатира на идеи и образы мышления строителей коммунизма. Вот председатель окрпрофсовета Пашкин обдумывает план увеличения котлована.

«...дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его и он запечатлется в ней вечной точкой»⁷).

Или:

«...он чувствовал воспоминание, что он — головоотяп и упущенец, — так его называли иногда в бумагах из района. 'Не пойти ли мне в массу, не забиться ли в общей, руководимой жизни?' — решал активист про себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени... Даже слезы показывались на глазах активиста... ведь весь земной шар, вся его мягкость скоро достанется в четкие, железные руки, — неужели он останется без

⁴) Стр. 6.

⁵) Стр. 90.

⁶) Стр. 12.

⁷) Стр. 56.

влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь»⁸⁾).

Но и этот активист-энтузиаст не спасается от «вышестоящих товарищей». Появляется директива сверху, предвещающая начало его конца:

«По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета... видно, например, что актив колхоза имени Генеральной линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма»⁹⁾).

Ко всяким «умственным» идеологиям, которые обнаруживают себя лишь как продукт разума и не связаны любовью с прошлым своего народа, не считаются с сущностью самого человека, Платонов беспощадно непримирим. Но нет в Платонове чувства осуждения даже по отношению к самым страшным людям — жертвам этих идеологий. Он жалеет их за неполноценность, за тупость. Он огорчается, что они одержимы ложными идеями, которые приносят в мир только несчастье и разрушение. О них Платонов говорит: «грустно существующие», «бессознательные люди». Или:

«Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять», и он «...спешно ломал вековой грунт»¹⁰⁾.

Порою Платонов дает психологическое объяснение подлым поступкам человека. Кто из читателей пройдет мимо образа священника, душа которого не выдержала окружающей обстановки и надорвалась.

«Я был поп, а теперь отмежевался от своей души...»¹¹⁾.

Священник стал доносчиком, обманщиком. Он пал так низко, что вызывает чувство гадливости даже у представителей тех, кому он служит. Но перед смертью в душе его проснулось глубоко загнанное, но еще живое смирение и сознание своего падения перед Богом:

«— Хочешь жить? — спросил Чиклин.

— Мне, товарищ, жить бесполезно, — разумно ответил поп. — Я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека...

⁸⁾ Стр. 58.

⁹⁾ Стр. 98.

¹⁰⁾ Стр. 15.

¹¹⁾ Стр. 70.

Сказав последние слова, поп склонился на землю и стал молиться своему ангелу-хранителю...»¹²⁾

Сюжет повести «Котлован» несложен. Он посвящен судьбе России, только скрыт в символических образах, в метафорах. Разрушают деревни, роют котлован, разрывая тем самым «вековой грунт». Для разрушителей грунт «был мертв и пустынен», а для народа это был «залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования»¹³⁾.

Котлован должен быть вырыт для построения «общепролетарского дома», куда «строители» собираются вселить «весь местный пролетариат». Роют, роют. Рыть трудно, некоторых строителей охватывает тоска. Тоска по забытом, оставленном светлом чувстве, которое, однако, еще не совсем умерло в тайниках озверелых сердец.

Они идут искать женщину — символ вечной России — и находят ее, умирающую «под спудом».

«...она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали... веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми...»¹⁴⁾

После того, как ее поцеловали, она скончалась, но

«...осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла»¹⁵⁾.

Ее оставили лежать под спудом, завалив дверь «каменными глыбами и прочим тяжелым веществом»¹⁶⁾.

У женщины осталась дочь — девочка (символ новой, советской, России: Родина). Ее взяли строители в помощь своей разрушительной работе. Одна пропаганда их не вдохновляла:

«...из радио и прочего культурного материала мы слышим линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом!»¹⁷⁾

Девочка остается жить среди рабочих; внешне сильно грубеет, внутренне тоскует и хочет назад, к матери; девочку берут с собой, когда ездят раскулачивать; она не выдерживает такой жизни и умирает; горящие рабочие хоронят ее глубоко в землю.

¹²⁾ Стр. 71.

¹³⁾ Стр. 16.

¹⁴⁾ Стр. 46.

¹⁵⁾ Там же.

¹⁶⁾ Стр. 46-47.

¹⁷⁾ Стр. 48-49.

Много страниц в повести посвящено событиям коллективизации. Платонов как бы хотел запечатлеть, оставить памятными для будущих поколений людские страдания. Иногда о них говорится в общем плане:

«Ночь покрыла весь деревенский масштаб, снег сделал воздух непроницаемым и тесным, в котором задышалась грудь, но всё же бабы вскрикивали повсеместно и, привыкая к горю, держали постоянный вой»¹⁸).

В других местах Платонов дает много отдельных образов мужиков и баб, не желающих идти в колхоз.

Но вот активист психологическим нажимом заставляет и «средняков» согласиться на обобществление своего имущества. «Средняки» начинают прощаться друг с другом и просят прощения за причиненное иной раз друг другу зло, как перед смертью:

«Каждый начал целоваться со всей очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого... После целованья люди поклонились в землю — каждый всем — и встали на ноги, свободные и пустые сердцем»¹⁹).

У Платонова очень конкретные людские страдания и муки передаются нам также через образы страдающей людям природы и совместно с людьми мучающихся животных. Вот описание настроения в колхозе после похорон двух убитых активистов и ожидаемой карательной экспедиции:

«...зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к полночи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящими массами ... Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения, — они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали — не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве»²⁰).

Описания бессмысленных жестокостей раскулачивания вынуждали Платонова переходить к стилю мрачного гротеска, карикатур. Вот целый табун лошадей, изменивших свою природу и пришедших к «коллективному сознанию», «организованно сми-

¹⁸) Стр. 75.

¹⁹) Стр. 77.

²⁰) Стр. 62-63.

рившись без заботы человека». Вот лучший работник колхоза — полузверь, получеловек — медведь, Мишка. Работает он усердно, но без всякого смысла. Он же главный распознаватель кулаков. Вот черные мухи, летающие целыми тучами, «перемежаясь с несущимся снегом», которые жили «жирующим способом» в убоине (мужики не хотели обобществлять свой скот)...

С другой стороны, Платонов неоднократно отмечает у крестьян светлую душевную настроенность:

«Его тоскливому уму представлялась деревня во ржи, и над ней носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насыщенный, мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль и в будущее, он видел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд.

Чтоб не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами»²¹⁾.

Среди партийных строителей лишь один инженер Прушевский, «представитель интеллигенции» (очевидно, беспартийный, хотя Платонов об этом не говорит), «производитель работ общепролетарского дома», после всех своих метаний нашел смысл и радость жизни — в любви. Он впоследствии ушел работать учителем. Надо думать, что в какой-то мере Платонов вкладывает и в Прушевского, как в Вощева, свои мысли и переживания. Возьмем, например, встречу Прушевского с иным миром:

«В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей. Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначения его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров стоял среди остального новостроющегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился...

²¹⁾ Стр. 48.

...Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность»²²⁾.

На что любовался Прушевский? Что же другое это могло быть, как не храмы, древние храмы, которые выстроили наши предки. Мог ли яснее сказать Платонов о духовных ценностях в десятикратно закамуфлированном своем произведении? Нет. Но и полнее сказать вряд ли возможно. Это понимали не хуже нас и те, кто не пропускал в печать сочинения Платонова.

Со времени написания «Котлована» прошли десятилетия. Но произведение это не устарело. Наоборот. Некоторые темы приобрели особую актуальность. Если во времена Федорова религиозно-философская мысль поднимала вопрос о воскрешении мертвых, то в наше время наука со своей стороны подходит к той же проблеме, и вопрос о скрытых потенциальных силах в душе человека — и хороших, и плохих — волнует так же, как и раньше.

В прошлом столетии два друга — Федоров и Циолковский — мечтали о заселении звезд. Их мечты граничили с фантазией и не выходили за рамки чисто теоретических размышлений и вычислений. Но несколько иное значение приобретают эти мечты в наши дни, когда человеческая нога уже ступила на Луну...

Однако на старой нашей Земле всё еще длится страшное рытье котлована. Скорее бы оно кончилось. И началась бы кладка новой жизни нашего отечества из камней «веры и свободы», строительство тех «спокойных зданий, светящихся больше, чем было света в воздухе», которые предназначаются «не только для пользы, но и для радости»²³⁾ людей.

²²⁾ Стр. 49-50.

²³⁾ Стр. 49-50.

ИНТУИТИВИЗМ

24 января 1965 года в Сент Женеьев де Буа под Парижем на 95-м году жизни, после продолжительной и тяжелой болезни, скончался один из самых крупных представителей русской и мировой философии XX века Николай Онуфриевич Лосский. Перед началом болезни он прислал нам рукопись помещаемой здесь его работы «Интуитивизм». Болезнь автора, затруднившая выяснение ряда вопросов, не позволила опубликовать ее своевременно. Ныне мы печатаем эту работу в том виде, в каком она была прислана, отмечая пятилетнюю годовщину смерти ее замечательного автора.

Редакция

1. ОЧЕВИДНОСТЬ КАК САМОСВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕДМЕТА

Со времен Декарта большинство философов считает абсолютно достоверным следующее положение: найденное мною в моем сознании есть всегда нечто абсолютно достоверное, как факт моего сознания. Я вижу, что гуляю в лесу вместе с моим другом, приехавшим ко мне издалека, и беседую с ним; возможно, что это — сновидение, я в лесу не был, и мой друг ко мне приехать не мог, но все же вполне достоверно то, что у меня только что были переживания прогулки в лесу и беседы с другом.

Абсолютная самодостоверность сознания объясняется тем, что предмет сознания *наличествует* в сознании, он *имманентен* сознанию. Можно поэтому формулировать абсолютно достоверный исходный пункт философии так: знание о предмете, имманентном сознанию, вполне достоверно, поскольку оно не выходит за пределы *наличного* в сознании и представляет собою *самосвидетельство* предмета о себе. Критерий абсолютной достоверности этого значения есть *очевидность*, т. е. составленность его только из того, что присутствует в сознании. Сомнение в таком знании нелепо, потому что это знание не есть копия предмета, оно не есть символ предмета, оно просто и прямо содержит в себе свой предмет в *подлиннике* как опознанный.

Акт непосредственного созерцания предметов в подлиннике я называю словом *интуиция*. Согласно теории знания, которую

я начал разрабатывать в 1903 г., все наше достоверное знание получается не иначе, как посредством такого непосредственного наблюдения предметов в подлиннике. Поэтому свою теорию знания я называю *интуитивизмом*.

Громадное большинство философов не останавливается на той совершенно точной формулировке абсолютно достоверного исходного пункта философии, которая дана мною выше. Они подменяют тезис абсолютной достоверности всего имманентного сознанию тезисом абсолютной достоверности сознания, понятого как совокупность субъективных психических состояний. Иными словами, они полагают, что всё имманентное сознанию состоит только из субъективных психических процессов. Поводом к этой *субъективизации* и *психологизации* всего состава сознания служат соображения о том, что находящееся в сознании может оказаться сновидением, иллюзией, галлюцинацией и т. п. На первый взгляд кажется несомненным, что эти явления должны во всем своем составе быть только субъективными психическими состояниями того, кто их переживает, а так как они по существу однородны со всеми остальными содержаниями сознания, то приходится думать, будто весь состав сознания слагается из субъективных психических состояний обладателя сознания. Эта мысль лежит до настоящего времени в основе теории знания множества философов. Не трудно, однако, показать, что она содержит в себе методологическую ошибку и не может служить исходным пунктом философии. В самом деле, впервые анализ сознания и наблюдение над различными слагаемыми его может установить, что следует разуметь под словами субъективный и психический. Этот анализ и эти наблюдения должны производиться под руководством действительно вполне достоверного тезиса, именно, что все найденное в сознании абсолютно достоверно. Интуитивизм есть теория знания, разработанная мною именно таким методом. Она изложена мною с разных сторон во многих моих книгах и статьях¹⁾.

Поэтому я здесь лишь вкратце изложу сущность своего интуитивизма и буду говорить подробнее только там, где внесу дополнения к своей теории.

Сознание всегда есть сознание о чем-нибудь. Назовем то, что

¹⁾ См. мои книги: «Обоснование интуитивизма», 1-ое изд. 1904 г., 3-е изд. 1924 г. (есть немецкий и английский перевод); «Логика», 2-ое изд. 1923 г. (есть немецкий перевод), «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938 г. (по-английски в пяти брошюрах). — Н. Л.

сознается, словом *объект* или *предмет* сознания. Например, когда я сознаю твердость своего письменного стола, т. е. непроницаемость его для моей руки, сознаю белизну стены дома, свою радость, — предметы сознания суть твердость, белизна, радость. Твердость не есть сознание твердости. Что присоединяется к твердости для того, чтобы она была сознанию твердостью? Акт внимания, направленный на твердость, несомненно, имеется в составе сознания твердости. Если мое внимание совершенно отвлекается от твердости и направляется на другие предметы, — твердость выпадает из моего сознания. Акт внимания есть своеобразное переживание: он направлен *вне себя* на предмет, он получает смысл и содержательность от предмета, на который направлен. Назовем такие действия термином *интенциональные** акты.

Наблюдать интенциональные акты нелегко. В повседневной жизни нас интересуют предметы, на которые интенциональный акт направлен, а вовсе не интенциональный акт. Нужна та ступень культуры духа, на которой существует высокоразвитая философия и психология, чтобы развилось такое утонченное самонаблюдение, которое необходимо, чтобы замечать и исследовать интенциональные акты. Особенно трудно, конечно, наблюдать тот интенциональный акт, который сопутствует всякому акту внимания и может быть назван актом осознания или актом *сознавания*. Он состоит в том, что нечто, например, белизна, твердость, не просто существует, а становится существующим *для меня* в некотором своеобразном смысле, именно в том, который выражается словами *сознаваемая* мною белизна.

Сознание белизны не есть еще *познанность* ее: знание возникает тогда, когда я отдаю себе отчет в том, что это — белизна, а не чернота, краснота и т. п. Иными словами, сознание должно быть еще подвергнуто интенциональному *акту различения*, посредством которого я нахожу, с чем оно сходно и от чего отличается. О других интенциональных актах, необходимых для познания предмета, можно теперь еще не говорить и обратиться к вопросу, что такое Я, которое уже несколько раз упоминалось здесь.

*) Интенциональный — намеренный, умышленный, настойчиво стремящийся к чему-либо. — Р е д.

2. СУБЪЕКТ СОЗНАНИЯ

В составе сознания с совершенною очевидностью наличествуют следующие три слагаемые: нечто сознаваемое, т. е. *объект* сознания, нечто сознающий, т. е. *субъект* сознания, и какое-то отношение между субъектом и объектом.

Об отношении между субъектом и объектом речь будет позже; теперь сосредоточимся на субъекте. Субъект сознания есть то существо, которое обозначается словом Я. Субъект и объект суть два полюса сознания, отличающиеся друг от друга следующим образом: объектов сознания много, они постоянно сменяются; гуляя среди полей и лугов, я радуюсь наступлению весны, слежу за полетом жаворонка, через минуту, получив известие о болезни друга, переживаю и сознаю печаль и т. д. и т. д. При всех этих сменах объектов субъект все время есть одно и то же мое Я. Благодаря тождеству Я существует *единство сознания*: и недавняя радость, и теперешняя печаль, и все восприятия во время прогулки принадлежат к составу единого *индивидуального сознания*, которое я называю своим сознанием.

Я, служащее объединяющим центром сознания, глубоко отличается от таких объектов, как радость, печаль, полет жаворонка: эти объекты имеют временную форму; они возникают, протекают и исчезают во времени, а Я *не имеет временной формы*.

Назовем всё, что имеет временную форму, словом *событие*. Полет жаворонка, радость, печаль суть нечто ежемгновенно меняющееся, отпадающее в прошлое и все вновь нарождающееся. Но Я, сознающее все эти события, само не течет во времени, не отпадает в прошлое и не нарождается вновь и вновь: оно не совершается, а незыблемо *есть*, как одно и то же Я, стоящее над головокружительным течением событий во времени. Итак, Я не есть событие; оно онтологически (бытийственно) принадлежит к иной области бытия, чем события. Назовем события, т. е. всё, что имеет временную форму и, следовательно, течет во времени, словом *реальное бытие*, а всё, что не имеет временной формы, — словом *идеальное бытие*. Согласно этому словоупотреблению, Я *есть идеальное бытие*.

Найдя субъект сознания, можно установить, что следует называть словами субъективный и психический. Когда я, субъект сознания, переживаю радость или печаль и путем различения опознаю их, я нахожу эти процессы как «мои» состояния: они суть *проявление* моего Я во времени, моя жизнь; я есмь источник

и носитель этих чувств, что и выражается вполне точно словами «я радостен», «я печален». Точно так же интенциональные акты, например, акт внимания, акт различения, непосредственно испытываются как «мои» акты, что и выражается словами «я внимательный», «я различающий». Во всех перечисленных случаях строение найденного мною таково, что в нем есть два резко различные элемента — стоящее над временем Я и принадлежащие ему проявления его во времени. Я не имеет временной формы, однако оно есть источник не только содержания своих проявлений, но и их временной формы; некоторые из своих проявлений, например, акты внимания, различения, я легко могу начать, продлить, прекратить. Это распоряжение моё формой времени следует отметить, называя Я не только невременным, но еще к тому же и *сверхвременным* существом.

Сверхвременное существо, которое есть источник и носитель своих проявлений во времени, есть *субстанция*. Ввиду того, что многие люди привыкли разуметь под этим словом мертвый пассивный субстрат качеств, я предпочитаю заменять слово субстанция словом *субстанциальный деятель*, имея в виду тот смысл понятия субстанции, который придан ему Лейбницем.

Словами субъективное состояние, субъективный акт и т. п. мы будем обозначать всё то найденное в сознании, что непосредственно переживается как «мое», — моя радость, моя печаль, мое внимание и т. п. Непосредственное наблюдение открывает, что между Я и этими процессами существует отношение их *принадлежности* нашему Я.

Теперь далее установим, что будем разуметь под словом «психический». Положим, передо мною стоит тарелка с куском сырого мяса, до меня доносится запах гниющего мяса, и я, испытывая отвращение, отталкиваю тарелку от себя. Совершенно очевидно, что акт отталкивания есть мое проявление по крайней мере в том смысле, что я инициатор этого действия и соучастник в осуществлении его моим телом²⁾.

Сравним теперь такие содержания сознания, как «мои» радость, печаль, акт внимания, чувство отвращения, с одной стороны, и сознаваемое отталкивание тарелки, с другой стороны.

²⁾ Подробности о строении таких актов см. в моей статье «Психология человеческого Я и психология человеческого тела». Записки Русского Научного Института в Белграде, 1940, вып. 17; «Psychologie des menschlichen Ich und Psychologie des menschlichen Körpers». Записки Русского Научно-Исследовательского Объединения, № 75, 1940, Прага. — Н. Л.

Явным образом это крайне различные друг от друга проявления моего Я: первые имеют временную форму и не имеют никакой пространственной формы, тогда как второе имеет и временную и пространственную форму. Первые суть *психические*, т. е. душевные процессы, а отталкивание есть *физический*, т. е. *материальный* процесс. Под словом психический процесс мы будем разуметь те процессы, которые имеют только временную форму, а под словом материальный процесс — те, которые имеют пространственно-временную форму.

Итак, опираясь на абсолютно достоверное самосвидетельство предметов, имманентных сознанию, мы установили две существенно важные истины. Во-первых, одно и то же Я, т. е. один и тот же субстанциальный деятель способен совершать не только психические, но и материальные акты. Во-вторых, в составе сознания могут находиться не только психические, но и материальные процессы: отталкивание может быть в такой же мере непосредственно осознано, как и моя радость. Итак, психологизация всего состава сознания, т. е. утверждение, что всё имманентное сознанию есть психическое, опровергается свидетельством опыта.

Первая истина устраняет такие ложные, но весьма распространенные учения, как, например, мысль Декарта, что существует субстанция дух или душа, которая есть носитель только психических процессов, и другая субстанция, материя, которая есть носитель только материальных процессов. В действительности мы нашли, что один и тот же субстанциальный деятель, Я, способен творить как психические, так и физические процессы. Следовательно, Я, субстанциальный деятель, есть существо *метапсихофизическое* (термин В. Штерна), стоящее выше области психических и материальных процессов, способное, творя эти процессы, сочетать их в единое целое, например, производить акт отталкивания осмысленно и целесообразно под руководством своего стремления освободиться от неприятного предмета.

Вторая установленная выше истина показывает ошибочность мысли, будто всё имманентное сознанию должно быть моим психическим состоянием: мое материальное проявление тоже может быть осознано мною непосредственно в подлиннике.

Теперь необходимо сделать еще один важный шаг вперед, касающийся вопроса о познании внешнего мира.

3. ПОЗНАНИЕ ВНЕШНЕГО МИРА

Сознаваемые мною радость, печаль, акт внимания непосредственно испытываются мною как «мои»; иначе предстоит в моем сознании видимая и осязаемая мною береза, она находится в моем сознании не как «мое», а как «данное мне», как нечто чуждое моему Я и моей душевной жизни; и все свойства ее — твердость ствола, белизна коры, зеленость листьев, шелест ветвей — всё это предстоит как «данное мне». Непосредственный опыт не дает никаких оснований считать березу и ее свойства моими проявлениями; видя зеленость, я не могу сказать — «я зеленюсь» подобно тому, как мы говорим — «я радуюсь»; береза со всеми ее свойствами предстоит в сознании как внешний, трансубъективный мир. Правда, можно сказать «я воспринимаю березу», но точный анализ открывает, что в этом сложном целом к области «моего» относятся только интенциональные акты внимания, различения и т. п., а предмет, на который они направлены, есть бытие, внешнее для меня.

Произведя этот анализ и руководствуясь самосвидетельством предметов, найденных в сознании, можно утверждать, что воспринимаемая береза есть отрезок внешнего мира, осознанный мною. Сам действительный предмет внешнего мира, когда я обращаю на него внимание, присутствует самолично, в подлиннике в моем сознании.

Это первое доказательство того, что внешний мир познается нами так же непосредственно, как и наши собственные психические состояния, получено путем усмотрения коренного различия между «моими» и «данными мне» содержаниями сознания. Второе доказательство состоит в следующем. Интенциональные акты, осознание, внимание очевидно не суть причина предметов, на которые они направлены: они «находят» эти предметы, существующие независимо от них, и ничего в них не изменяют.

Употребляя слово «причина», нужно установить смысл его тем же методом, которым мы пользовались до сих пор, именно: на основании самосвидетельства содержаниями сознания. Когда я отталкиваю отвратительно пахнущий предмет соответственно своему стремлению освободиться от него, я есмь причина этого действия. Событие отталкивания творится, производится мною как нечто новое, раньше не существовавшее. Я есть деятель, а оно есть мое действие или проявление. Быть причиной события это значит быть субстанциальным деятелем, который творит событие. Есть много различных теорий причинности. Согласно

позитивистической теории, под причину события следует разуметь совокупность событий, вслед за которыми возникает данное событие законосообразно. Эта теория устраняет из понятия причины *динамический* момент и сохраняет только временный порядок, выдвигая на первый план законосообразность его. Наоборот, то понятие причинности, которое сформулировано выше на основании свидетельства опыта, подчеркивает именно динамический момент порождения, а временной порядок рассматривает как производную сторону порождения нового события. Далее в этом понятии причинности указано, что события творятся не предшествующими событиями, а каким-либо субстанциальным деятелем, т. е. сверхвременным существом. События суть мимолетные продукты творчества субстанциальных деятелей, отпадающие в пропасть прошлого и неспособные творить новое будущее; носителем творческой силы для проявления во времени может быть только субстанциальный деятель. Само собою разумеется, субстанциальный деятель творит новое событие на основании своих прежних и теперешних переживаний, т. е. на основании событий, сотворенных или воспринятых им раньше: отталкивание неприятно пахнущего предмета произвожу я, но не я, взятый лишь в своей сверхвременности, а я, переживающий чувство отвращения и стремление освободиться от неприятного предмета. Отсюда следует, что необходимо различать *причину* в точном смысле слова и *поводы*: причина, т. е. творец нового события, всегда есть какой-либо субстанциальный деятель, а поводы суть те обстоятельства, в связи с которыми субстанциальный деятель проявляет свою творческую силу.

При этом признак законосообразности совершенно выпадает из понятия причинности. Забегая вперед и для большей ясности касаясь вопроса, который не будет предметом доказательства в этой статье, выскажем следующие положения: существует закон, что всякое событие имеет причину, т. е. что события не вспыхивают самочинно во времени, а всегда производятся каким-либо субстанциальным деятелем. Но вовсе нет закона, согласно которому деятель должен был бы повторять при сходных обстоятельствах одни и те же действия или за некоторою совокупностью событий должно было бы с абсолютной необходимостью возникать такое-то событие. В событиях нет никакой силы, которая вынуждала бы субстанциального деятеля поступать так, а не иначе. Некоторые события творятся деятелем единственный раз, это индивидуальная причинность; другие события повторяются им в

однородных условиях со значительной степенью правильности, например, когда я голоден, стараюсь утолить голод какою-либо пищею, но могу и совсем отказаться от пищи, обречь себя на голодную смерть. Из причинной обусловленности всех событий вовсе не вытекает детерминизм; наоборот, правильное, т. е. динамистическое понятие причинности ведет к признанию свободы воли (см. об этом мою книгу «Свобода воли»; есть английский перевод).

Для возможности науки вовсе не требуется законосообразная причинная связь, достаточна бóльшая или мёньшая *правильность* возникновения событий, достигающая значительной степени однообразия в низших царствах природы, изучаемых физикою и неорганическою химиею, и выражаемая в *статистических законах*.

Установив смысл слова «причина», поставим следующий вопрос. Можно ли утверждать, что я, совершающий акт сознания, внимания, различения, есмь причина, творящая березу, имманентную сознанию. На этот вопрос можно ответить только решительным отрицанием: я направляю эти акты на предмет, «данный мне», и не нахожу в себе никакой деятельности, производящей этот предмет; несомненно, я есмь причина вступления березы в мое сознание, причина ее осознанности и опознанныости мною, но не причина ее существования. Таково второе доказательство того, что предметы внешнего мира вступают в мое сознание в подлиннике и познаются так же непосредственно, как и мои психические состояния.

Предметы внешнего мира, когда на них направлены акты сознания и внимания, становятся *имманентными* моему сознанию, но остаются *трансцендентными* мне, *субъекту сознания*: они не становятся моими психическими состояниями, а остаются частью внешнего мира. Следовательно, акт осознания, когда он направлен на внешний мир, есть акт *трансцендирующий*, выходящий за пределы моей психо-физической индивидуальности. Мое сознание, направленное на предметы внешнего мира, есть сверхиндивидуальное целое, составленное из моего Я, моих интенциональных актов и «данных мне» предметов внешнего мира. Несколько иное строение имеет осознание мною моих собственных душевных состояний, например, моей радости: в этом случае объект сознания (радость) имманентен и сознанию, и субъекту сознания. Таким образом, в строении сознания и знания нужно строго разграничивать две стороны — субъективную и объективную. Су-

бъективная сторона состоит из моего Я и моих интенциональных актов осознания, внимания и т. п., а объективная сторона, предметы сознания, может принадлежать к любой области бытия: предметом сознания могут быть мои собственные психические и физические проявления, но также и всевозможные предметы внешнего мира, физические процессы и психические состояния существ этого внешнего мира³⁾, реальное бытие, а также идеальное бытие.

Интенциональные акты внимания, различения и т. п., направленные на предмет, ничего не меняют в нем, поэтому мы знаем предметы в подлиннике, т. е. такими, как они существуют независимо от нашего Я и нашего познавания. Кант называл вещи в их бытии, независимо от познающего сознания, термином «вещь в себе» и считал их абсолютно непознаваемыми. Согласно интуитивизму, наоборот, всякое знание есть знание о «вещах в себе». Мир есть система существ, интимно связанных между собою, вследствие чего каждое Я может прямо, нескромно заглядывать в недра чужого бытия.

Какая связь, какое отношение между познающим субъектом и познаваемым предметом дает возможность непосредственного созерцания, т. е. интуиции?

Когда я наблюдаю собственные свои проявления, например, свою радость, — эта связь есть отношение *принадлежности* ее мне. Но когда я воспринимаю предмет внешнего мира, например, березу, — отношение между Я и предметом иное. Своеобразие этого отношения легко наблюдать, потому что оно не только обуславливает возможность сознания, но и сохраняется в самом строении сознания: оно состоит в том, что наблюдающий субъект и наблюдаемый предмет внешнего мира образуют единое целое. Субъект и объект соединены этим отношением, как два независимые друг от друга отрезка мира, поэтому можно назвать такую связь их словом *координация*. Чтобы подчеркнуть, что эта связь есть условие познаваемости мира, назовем ее *гносеологической координацией*.

Координация субъекта и объекта еще не есть знание, т. е. еще не есть интуиция, но она дает возможность субъекту направить акты осознания, внимания, различения на объект, т. е. совершить акт интуиции. Так как субъект есть существо сверх-

³⁾ См. главу «Восприятие чужой душевной жизни» в моей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция». — Н. Л.

временное и сверхпространственное, то и координация его с объектами не есть пространственная близость и не есть сосуществование во времени; это — связь субъекта с миром, стоящая выше всякой пространственной и временной раздробленности. Поэтому возможно знание о предметах, далеких от моего тела в пространстве и далеких от моей теперешней жизни во времени. На этом основании может быть выработана интуитивистическая теория памяти, согласно которой воспоминание есть интенциональный акт, направленный субъектом через пропасть времени прямо на событие, пережитое или воспринятое вчера или даже 20–30 лет назад; при этом акт воспоминания есть теперешнее событие, а вспоминаемое есть само прошлое в подлинники, опять наличествующее в сознании. Начало таким теориям памяти положил Бергсон в своей книге «Материя и память».

Координация моего Я с миром есть такая моя связь с другими существами, благодаря которой, уже до моего сознания о них, жизнь их существует не только для них, но и для меня. Чтобы отдать себе отчет в этом, необходимо выработать понятие *для себя-бытия и для-другого-бытия*. Моя жизнь, например, мои чувства, мои стремления суть не просто бытие, а *для-меня-бытие*, так как они суть мои проявления и ни к одному из них я не равнодушен, всякое свое новое проявление я творю в связи со своею предыдущею жизнью. Даже до осознания мои чувства и стремления, хотя и существуют подсознательно, тем не менее существуют *для меня* и имеют значение для моего поведения.

Здесь может быть высказано следующее возражение. Условно было признавать за истину лишь те суждения, которые выражают самосвидетельство предмета, имманентного сознанию. Теперь речь идет о существовании подсознательных или бессознательных психических состояний. Но как возможно самосвидетельство чувства или стремления, если оно переживается бессознательно и, следовательно, находится вне сознания? На этот вопрос можно ответить так. Интенциональные акты сознания, внимания и т. п., согласно установленным выше положениям, суть только условия сознавания моих чувств и стремлений, но не условия существования их. Слушая талантливую речь лица, с которым я соперничаю, я могу почувствовать зависть и под влиянием ее, зорко подмечая некоторые недостатки соперника, шепнуть о них своему соседу. Подметив в себе это предвсудительное чувство, я могу произвести мысленный эксперимент, именно: разграничить мысленно акты сознания, внимания и т. п., с одной

стороны, и чувство зависти, с другой стороны; ретроспективно опознавая при этом свое только что протекшее поведение, я с очевидностью усмотрю, что постыдное чувство зависти существовало и влияло на мое поведение раньше, чем я его заметил, т. е. подсознательно.

Кроме рассмотренного нами сознательного и подсознательного *для-себя-бытия* моей собственной жизни, существует еще благодаря координации бытие одних существ и их жизни для других существ; мы назвали это соединение существ словом *для-другого-бытие*. Когда я воспринимаю березу, она есть чужое бытие, однако она существует не только для себя, а и для меня, не как моя жизнь, а как предмет наблюдения, и притом предмет, имеющий положительное или отрицательное значение для моей жизни, например, если я люблюсь цветом ее листьев, раскидистостью ветвей и т. п. Это *для-других-бытие* всех существ, являющееся следствием координации их, существует в них самих, как и *для-себя-бытие*, всегда, а не только в момент сознания; оно существует для меня подсознательно и, если окажется соответствующим моим интересам, я обращаю на него внимание, осознаю его и, таким образом, сделаю его еще более для-меня-сущим. Например, увлеченный беседой с другом, я сначала не замечаю доносящихся до меня звуков любимой мною патетической сонаты Бетховена, а потом, наконец, начинаю замедлять беседу, чтобы слушать музыку; звуки уже до этого слушания подсознательно существовали для меня и потому могли служить для меня поводом направить на них внимание. Вследствие координации моего Я со всем миром весь мир в каждый данный момент наличествует в моем подсознании. Весь мир есть такое органически целое единство, что *всё имманентно всему*, но эта имманентность существует в двух глубоко различных формах — имманентность в виде *для-себя-бытия* и в виде *для-других-бытия*. Конечно, подробное развитие и обоснование этих учений о строении мира, объясняющее, как возможна интуиция, есть задача метафизики⁴⁾; для целей гносеологии достаточно найти связь субъекта с объектами, как координацию их, обуславливающую для-другого-бытие.

Одна из причин того, что в гносеологии не выработано понятие «для-другого-бытия» и все содержания сознания истолковываются как субъективные психические, заключается в непра-

⁴⁾ См. мои книги «Мир как органическое целое», 1917; «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938, и др. — Н. Л.

вильном понимании субстанции, распространенном особенно со времени Декарта: субстанция понимается как замкнутое в себе бытие, являющееся носителем своих проявлений и не имеющее «окон и дверей», как говорил Лейбниц. Курьезнее всего то, что многие философы, отрицающие понятие субъекта как субстанции, продолжают, однако, считать все содержания сознания субъективными психическими состояниями.

Философы, субъективирующие и психологизирующие весь состав сознания, принуждены думать, что знание о существовании внешнего мира и свойствах его достигается не иначе как путем умозаключений. Но их учение о сознании исключает возможность таких умозаключений. В самом деле, в силлогизмах вывод состоит из понятий, имеющих то же содержание, что и в посылках; никакого нового содержания понятий силлогистический вывод дать не может. Следовательно, из посылок, содержащих в себе только субъективные психические данные, никак нельзя выколдовать знание о внешнем мире. Правда, кроме силлогизмов, существуют еще умозаключения, которые можно называть материально-синтетическими⁵).

Например, умозаключение «если событие А происходило годом раньше, чем событие В, а событие В — годом раньше, чем событие С, то событие А произошло двумя годами раньше, чем событие С». Здесь в выводе имеется понятие «двумя годами раньше» по содержанию новое в сравнении с первой и второй посылками. Ясно, однако, что и эти умозаключения не могут дать знания о внешнем мире, если посылки состоят только из психических состояний субъекта. На самом деле сущность этих умозаключений такова: система посылок включает в себе содержание не только первой и второй посылки, но также и содержание вывода, и задача умозаключения состоит лишь в том, чтобы мыслящий субъект, созерцая первое и второе отношение событий во времени, был вынужден признать наличность в сознании также и третьего отношения событий. Но если философ считает весь состав сознания субъективным психическим, то и всё высказанное в выводе есть только субъективное психическое состояние, а вовсе не знание о внешнем мире. Итак, логически обосновать знание о существовании и свойствах внешнего мира философы, отрицающие интуицию как непосредственное восприятие внешне-

⁵ См. о них мою «Логика» — §§ 138-142. (Немецкий перевод: «Handbuch der Logik», Teubner, Lpz. — Н. Л.

го мира, не могут. Это соображение, хотя и косвенное, сильно говорит в пользу интуитивизма. Подробно оно развито путем исследования докантовского эмпиризма и рационализма в моей книге «Обоснование интуитивизма», гл. I, II и IV.

В дополнение к изложенным выше доказательствам интуитивизма можно привести еще соображения о некоторых наших абсолютно достоверных знаниях, которые иначе как путем непосредственного восприятия не могут быть получены. Таково знание об активности и знание о пространственных объемах материальных вещей.

Активность, действие, можно познать не иначе как путем непосредственного созерцания ее. Можно попытаться утверждать, что мы непосредственно созерцаем только свою активность и это знание переносим на предметы внешнего мира. Эта попытка, однако, весьма неудовлетворительна. Когда сильный напор ветра мешает мне идти, я воспринимаю не только свою активность, но и противодействующую мне динамичность ветра, и все попытки субъективировать и психологизировать эту данную опыта явно искусственны.

Что касается пространственного объема вещей, интуитивизм часто подвергается следующему возражению. Противники этой теории знания говорят: когда я смотрю на Монблан, сам этот огромный предмет, согласно интуитивизму, находится в моем сознании; как он может поместиться в сознании? Этот вопрос свидетельствует о том, что критик совсем не понял сущности интуитивизма. Согласно интуитивизму, сознание только отчасти содержит в себе субъективный психический аспект и уж, конечно, не есть нечто, заключенное в черепной коробке или в моем Я: сознание о Монблане есть *сверхиндивидуальное целое*, состоящее из сознающего субъекта, направившего внимание на Монблан, и из самого Монблана. Критик не замечает, что своим возражением он опровергает не интуитивизм, а свои собственные учения, психологизирующие весь состав сознания. В самом деле, он, очевидно, думает, что в сознании не созерцается действительное трехмерное пространство, а находится лишь какое-то «психическое» пространство, т. е. «мнимость» трехмерного объема, не имеющая никакой «растянутости» и потому могущая находиться в сознании. Между тем из самого этого возражения видно, что критик отлично знает настоящую растянутую трехмерную протяженность, которая, следовательно, не есть психический «образ», и это знание может быть объяснено только интуи-

тивизмом, т. е. учением о том, что мы непосредственно созерцаем протяженные предметы внешнего мира.

Слушая эти рассуждения, многие философы скажут с насмешливою улыбкою: ваш интуитивизм есть «наивный реализм», т. е. то мнение, которого придерживаются дети, дикари и незнакомые с философиею лица, склонные к эстетическому созерцанию мира. Да, — отвечу я, — интуитивизм есть наивный реализм, однако освобожденный от наивности, т. е. реализм, выраженный в понятиях и обоснованный путем сложных доказательств, чего не умеют делать ни дети, ни дикари. Словом «реализм» я не называю свою гносеологию потому, что пользуюсь термином «реальный» для целей онтологии, именно называю «реальным бытием» *события*, т. е. всё, имеющее временную или пространственно-временную форму, в отличие от «идеального бытия», т. е. того, что не имеет временной и пространственной формы.

Стороннику интуитивизма может быть поставлен вопрос: если акты внимания и различения могут быть непосредственно направлены на сами предметы внешнего мира, то зачем же нам нужны органы чувств, глаза, уши и раздражение их лучами света, волнами воздуха? На этот вопрос остроумно ответил Бергсон в своей книге «Материя и память»: физиологические процессы в органах чувств и центрах мозга не творят восприятия, их роль второстепенная, они служат только *поводом, подстрекателем* наше Я направить внимание на сам предмет внешнего мира, подействовавший на органы чувств. Наличие причинных воздействий предметов на органы чувств есть главное основание, побуждающее многих философов субъективировать и психологизировать весь состав чувственных восприятий. Они полагают, что факты и понятия, установленные физикою и физиологиею, содержат в себе все условия для объяснения и столь отличного от механических процессов явления, как сознательное восприятие и служащее выражением его суждение, например, «кора этой березы белая». Они строят механистическую *каузальную* теорию восприятия. Философ, усматривающий своеобразие духовных актов сознания, принимает вместе с Бергсоном с благодарностью указания естествознания на физико-физиологическую сторону сложного процесса познавания предметов, но, отметив ее второстепенное значение, сосредоточивает внимание на изучении главной стороны этого процесса — на духовном акте сознания, анализирует его и выясняет соотношение его элементов, именно: субъекта, объекта, координации их, интенциональных актов и

т. п. Это исследование и есть задача гносеологии. Определение этой науки следует дать такое: гносеология есть *теория истины*. Ясное дело, что истина есть весьма своеобразный предмет; для понимания его строения недостаточно знать физику, физиологию и ту психологию, которая ошибочно опирается на эти науки. *Каузальная* теория восприятия заменена здесь *координационной* теорией восприятия.

Теории знания, субъективирующие и психологизирующие весь состав сознания, принуждены при последовательном развитии утверждать, что свойств внешнего мира познать нельзя и даже нельзя доказать существования его; конечный результат их есть саморазрушительный солипсизм и скептицизм. Поэтому в XIX веке появилось много попыток преодолеть солипсизм путем такого учения о строении мира и знания, которое ведет хотя бы к частичному интуитивизму. Большею частью эти гносеологические направления содержат в себе учение о подчинении индивидуального субъекта охватывающему весь мир духовному началу; у Фихте это — Абсолютное «я», у Гегеля — Абсолютная идея. В более близкое к нам время преодоление солипсизма осуществлялось в неокантианстве, например, в имманентной философии и в трансцендентально-логическом идеализме, путем учения о родовом Я (Шуппе), гносеологическом Я (Риккерт), трансцендентальном Я (Гуссерль)⁶.

Такие учения можно характеризовать как попытки *субординационного* преодоления солипсизма. Наоборот, интуитивизм, разрабатываемый мною, есть *координационное* преодоление солипсизма, так как я утверждаю, что индивидуальное Я есть самостоятельное бытие, не сводящееся только к проявлениям какого-либо объемлющего весь мир сверхиндивидуального Я. Оно связано со всеми существами всего мира путем координации с ними.

4. ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ СУБСТАНЦИАЛЬНОСТИ «Я»

В начале статьи было уже установлено, что в центре сознания стоит субъект как особое онтологическое начало, именно сверхвременный и сверхпространственный субстанциальный дея-

⁶ См. подробно об этих видах частичного интуитивизма главу «Учение о непосредственном восприятии транссубъективного мира в философии XIX века» в моей книге «Обоснование интуитивизма». — Н. Л.

тель. Многие философы отрицают наличность в сознании Я как субстанции. Соображения, приводимые ими, всегда оказываются следствием какого-либо недоразумения. Так, Юм говорит: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим «я», я всегда наталкиваюсь на ту или другую единичную перцепцию*) — тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никак не могу поймать свое «я» отдельно от перцепций и никак не могу подметить ничего, кроме какой-нибудь перцепции»⁷⁾).

Ошибка Юма ясна: он хочет поймать свое Я «отдельно» от перцепций, т. е. рассуждает как человек, воображающий, будто субстанциальное Я должно было бы пребывать в резком обособлении от душевных процессов, как дуб на лужайке, который резко обособлен от растущей вокруг него травы. В действительности найти Я можно не иначе как в связи с его представлениями, чувствами, желаниями, анализируя их так, чтобы отчетливо усмотреть, например, в акте внимания аспект «я» и аспект «внимателен». Для этого нужна деятельность абстракции, еще более развитая, чем та, которая необходима для отчетливого созерцания объектов математики.

Анализа, необходимого для наблюдения Я как субстанции, не произвел даже столь способный к умозрению философ, как Вл. Соловьев. В молодости он вкратце наметил основы интуитивизма. К сожалению, это был лишь частичный интуитивизм: Соловьев, подобно Якоби, признал существование мистической интуиции, именно непосредственного восприятия независимой от нас реальности предмета. Остальные стороны знания, которые он называл эмпирическим и рациональным познаванием, имея в виду восприятие чувственных качеств предмета и логическую связность мышления, он понимал как субъективный психический процесс. В конце своей жизни Соловьев задался целью обстоятельно выработать теорию знания и написал три статьи под заглавием «Теоретическая философия»⁸⁾). Смерть помешала ему закончить этот труд. В начале первой статьи он говорит, что философия стремится установить знание, абсолютно достоверное. Исходным пунктом для нее должна служить «безусловная самодостоверность наличного сознания». «В преддверии древней фи-

*) Перцепция — восприятие, ощущение, осознание, понимание. — Р е д.

⁷⁾ «Трактат о человеческой природе», кн. I. ч. IV, секция VI. — Н. Л.

⁸⁾ Вл. Соловьев. Соч. VIII т. — Н. Л.

лософии, в некоторых из Упанишад с детским восторгом возвещается эта истина, яснейшее ее изложение находим у родоначальника средневековой философии блаженного Августина, и ею же через двенадцать веков начинает свою философию Декарт» (161 стр.). Почему нельзя сомневаться в данных сознания? Потому, отвечает Соловьев, что «здесь знание непосредственно совпадает со своим предметом» (160 стр.). Но, рассуждает он далее, «это знание при своей бесспорности само по себе очень скудно»: когда вы видите перед собою пылающий камин, то бесспорно лишь «присутствие известного зрительного представления с определенными признаками цвета, очертания, положения» и т. д., но если вы идете далее и утверждаете, что «все эти свойства принадлежат некоторому реальному телу, существующему независимо от вашего теперешнего представления, то вы, очевидно, переходите из области достоверного факта в область спорных предположений»: возможно, что это представление есть сонная греза или галлюцинация или результат оптического фокуса. Итак, бесспорная достоверность данных сознания есть не более как «знание о психической наличности» (161 стр.). Таким образом, без анализа, открывающего строение сознания, просто ссылаясь лишь на возможность сновидения, галлюцинации, оптического фокуса, Соловьев истолковывает всё имманентное сознанию как субъективный психический процесс; он производит подмену тезиса абсолютной достоверности данных сознания тезисом абсолютной достоверности сознаваемой субъективной психической наличности.

Почему ссылки на сновидения, галлюцинации и т. п. не дают права субъективировать и психологизировать весь состав сознания, будет сказано позже, а теперь сосредоточимся на вопросе о субъекте сознания как субстанциальном деятеле. Соловьев упрекает Декарта в том, что он слишком поспешно перешел от непосредственной достоверности психических состояний к утверждению самодостоверности существования Я как субстанции (166 стр.). «Из того, что всевозможные психические состояния соотносятся с одною и тою же мыслью я, — никак не следует, говорит Соловьев, чтобы это я было не мыслью, а чем-то другим» (173 стр.). Отсюда видно, что Соловьев замечает в своем сознании только *событие думания* о Я, но не предмет, на который направлено это думание. В подтверждение того, что бытие Я не наличествует в сознании, он приводит следующие соображения: дети считают свое *тело* носителем своего Я; англичане, говоря о чело-

веческом субъекте, называют его телом: «некто» по-английски *some body* или *any body* (169 стр.). В сознании, думает Соловьев, мы находим лишь «феноменологического субъекта», т. е. лишь «постоянную форму, связывающую всё многообразие психических состояний», как неизменный, но пустой и бесцветный канал, через который проходит поток психического бытия, и если мы, однако, не признаем себя или свое Я такую пустотой и бесцветностью, то лишь потому, что под самодостовверного субъекта сознания подставляем нечто другое, именно: нашу эмпирическую индивидуальность, которая, конечно, может быть весьма содержательною, но зато — увы! — не представляет собой той самоочевидной непосредственной действительности, которая принадлежит чистому Я или феноменологическому субъекту (174 стр.). В подтверждение возможности «обманов самосознания» Соловьев приводит гипнотический эксперимент, во время которого скромная молодая модистка под влиянием внушения принимала себя «сначала за пьяного пожарного, потом за архиепископа парижского»; в связи с этим он указывает на случаи раздвоения, расстроения и т. д. личности. По мнению Соловьева, такие факты «в корне подрывают мнимую самодостовверность нашего личного самосознания, или обычную уверенность в существенном, а не формальном или феноменологическом только тождестве нашего я» (175 стр.). Возможно и то, что «данный теперь в моем самосознании Владимир Соловьев, пишущий главу из теоретической философии, есть в действительности лишь гипнотическая маска, надетая каким-нибудь образом на королеву мадагаскарскую Ранавало или на госпожу Виргинию Цукки» (известная артистка-балерина). (176 стр.). Правда, тут же Соловьев делает оговорку: «Следует заметить, что формальный или феноменологический субъект при этом вовсе не изменяется». «Оно и не удивительно: субъекту сознания, как таковому, нечего изменять в себе, так как в нем самом по себе ничего и не содержится, это только форма, могущая с одинаковым удобством вмещать психический материал всякой индивидуальности — и модистки, и пожарного, и архиепископа» (176 стр.). «Но затем, говорит Соловьев, возникает вопрос: что же такое есть Я? Исчерпывается ли оно этим своим являемым или феноменологическим бытием, относительно которого нет сомнений?» В ответ на этот вопрос он указывает три возможности, три существующие в философии учения:

1. Мнение английской психологической школы, что Я «есть только одно из множества психических состояний, мысль, как и

всякая другая, явление среди других явлений».

2. Учение Канта о трансцендентальном Я, именно о том, что Я есть «общее формальное условие всех явлений, априорный связующий акт мысли, не существующий, однако, вне этой своей связующей функции».

3. Учение о том, что Я есть субстанция, «реальный центр психологической жизни, имеющий собственное бытие, независимо от данных своих состояний» (мнение Декарта, многих спиритуалистов, учение, защищаемое Лопатиным). (185 стр.). Спор между этими тремя теориями есть, по мнению Соловьева, доказательство того, что знание о нашем Я состоит из предположений, а не из наблюдений «самодостовверного наличного факта». «Если бы бытие нашего я или души, как субстанции, было дано непосредственно в наличных состояниях сознания», то, думает Соловьев, «никакого вопроса и сомнения об этом бытии не могло бы и возникнуть» (186 стр.).

Вопрос, какая из этих теорий есть выражение истины, Соловьев не успел решить, так как смерть прервала его работу. Но в напечатанной части ее уже решительно отвергнута третья теория, согласно которой Я есть индивидуальная субстанция. Он говорит, что считать наше Я не мыслью, а чем-то более значительным, можно было бы, «если бы существовало сознание творческой деятельности нашего я в самом возникновении его представлений, чувств, желаний и т. д. ...если бы, например, теперь, смотря на стену с висящим на ней портретом, я непосредственно создал, что она произведена мною, моим собственным внутренним действием, а также сознавал бы и как это сделано» (173 стр.).

В конце третьей своей статьи Соловьев говорит, что истина может быть только всецелою; следовательно, ее нет в области отдельного, обособленного Я. Человеческое Я, задавшееся целью познать саму истину, «становится формой истины» как бы в зародыше; но «зародыш самой истины есть зародыш ее всецелости», следовательно, «мыслящий субъект разорвал оковы своей мнимой отдельности, стал субъектом сверхличным» (212 стр.). Какой это сверхличный субъект, — вопрос остался нерешенным; имея в виду то, что Соловьев не отказался от своей христианской метафизики и, как видно из некоторых намеков статьи, искал способов гносеологически оправдать ее, можно думать, что он хотел

установить зависимость человеческого познания от света Божественного разума⁹⁾.

5. ТРУДНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ АБСОЛЮТНЫМ КРИТЕРИЕМ ИСТИНЫ

Соображения Соловьева о данном и не данном в сознании содержат в себе ряд недоразумений, разъяснение которых существенно полезно для защиты интуитивизма и учения о наличности в сознании Я как сверхвременного субстанциального деятеля.

Начнем с вопроса, правда ли, что если существуют споры и различные мнения о предмете, то предмет спора не присутствует в сознании самолично, а только предположен нами. На первый взгляд это соображение Соловьева кажется абсолютно убедительным. На самом деле, однако, даже и наличность предмета в сознании не исключает споров о нем и различных теорий. Пользование основным критерием истины, именно самосвидетельством предмета, имманентного сознанию, вовсе не есть такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Сознание о предмете всегда сложно уже в том смысле, что в нем непременно есть две стороны — интенциональные акты и предмет, на который они направлены. Акты осознания и внимания вводят предмет из подсознания в сознание; далее, акты различения делают предмет не только сознанным, но и познанным. Отсюда ясно, что два спорящих лица могут находиться в таком положении: один из них осознал и опознал предмет, а другой совсем его не осознал и потому отрицает его существование. Бывают случаи, когда человек под влиянием каких-либо своих страстей, интересов или предрассудков старается закрыть глаза на существование предмета и оттеснить его в область подсознания; так, некоторые люди стараются избежать религиозного опыта, который принудил бы их признать существование Бога.

Не только сознание о предмете сложно, — сам осознанный предмет чаще всего есть сложное конкретное целое. Сознание о предмете не есть еще знание о нем; для опознания предмета необходимы акты различения, направленные на него. Но каждый акт различения делает предмет опознанным только с какой-нибудь

⁹⁾ Подробности об отрицательном отношении Соловьева к понятию субстанции в конце его философской деятельности см. в книге кн. Е. Трубецкого «Мировоззрение Вл. Соловьева», гл. XXIII. — Н. Л.

стороны, представляющей собою обыкновенно лишь бесконечно малую часть всего состава предмета. Например, посредством одного акта различения я узнаю цвет листьев березы, посредством другого акта — пространственную форму их и т. д. Даже знание о такой простой, казалось бы, стороне предмета, как его цвет, есть сложная задача; положим, я отдал себе отчет в том, что данный цвет есть белизна, но белизна имеет много разновидностей и нередко требует от меня нового усилия, чтобы произвести различение более разностороннее и отдать себе отчет в том, что это белизна матовая, далее, что это матовая белизна с синеватым оттенком и т. д. Отсюда ясно, что знание даже и о предмете, ставшем имманентным сознанию, есть только *выборка* из его состава. Каждый шаг опознания предмета есть *анализ* его путем различения в нем тех или других содержаний, отношений и т. п.

Опознание некоторых сторон сложного предмета иногда представляет собою большие трудности; для облегчения этого процесса нужна помощь со стороны строения самого предмета, например, смена его элементов, перегруппировка их, как это бывает, скажем, при опознании ребенком цвета вещей, когда он имеет перед собою много предметов, окрашенных в различные цвета и имеющих различную пространственную форму. Если же какой-либо элемент сложного предмета всегда сопутствует другим его сторонам, — выделить его для опознания очень трудно. Поэтому идеальное, т. е. невременное и непространственное бытие опознается с особенным трудом, тем более, что оно есть предмет не чувственной, а интеллектуальной интуиции.

Если знание всегда есть *выборка* из сложного состава конкретного предмета, имманентного сознанию, то неудивительно, что возможны споры о том, существует ли в предмете такой-то элемент или не существует: одно из спорящих лиц опознало этот элемент как очевидно наличный, а другое не опознает его. *Выборка* из сложного предмета почти всегда производится различными лицами различно; одни наблюдают одну сторону предмета, а другие — другую; эти различия в восприятии одного и того же предмета являются источником бесконечных споров, причем обе стороны правы в своих утверждениях, т. е. в том, что они наблюдают, и ошибаются в своих отрицаниях, т. е. в том, чего они не сумели заметить.

Существует еще худший недостаток знания, чем его фрагментарность и разногласия, обусловленные тем, что один наблюдатель производит одну *выборку*, а другой — другую. Душевная

жизнь человека сложна, и потому нередко к деятельности познания предмета присоединяются и другие, непознавательные акты, например, воспоминания на основании прочной ассоциации представлений или акты фантазии. Отсюда к объективным данным опыта прибавляются субъективные примеси. При познании внешних предметов хуже всего то, что эти субъективные примеси сами состоят тоже из вспоминаемых транссубъективных данных прошлого опыта, и, следовательно, в таком случае к области чистой субъективности принадлежит только синтез их с элементами, действительно принадлежащими наблюдаемому предмету. Так объясняются многие неточности восприятия, иллюзии и галлюцинации. Если, смотря на портрет, висящий на стене, я подавлю пальцем на глазное яблоко и выведу его из нормального положения, то портрет удвоится, и второй экземпляр его я буду видеть на таком месте стены, где портрет фактически не находится. Здесь оптическое содержание портрета и место стены суть транссубъективные данные, и только синтез этих данных есть субъективная примесь. Подобный характер имеет восприятие палки, наполовину погруженной в воду, причем она кажется надломленной. Если, входя в полутемную комнату, ребенок со страхом видит стоящего в углу человека, а в действительности оказывается, что это — висящее на стене полотенце, эта иллюзия есть сочетание полотенца с вспоминаемой фигурой человека; но воспоминания о человеке суть не субъективные психические образы, а транссубъективные данные прошлого опыта, вновь возводимые в кругозор сознания особым интенциональным актом воспоминания; следовательно, здесь имеется субъективный синтез транссубъективных данных наличного и прошлого опыта. Галлюцинация есть субъективный синтез транссубъективных данных прошлого опыта, вспоминаемых с «эйдети-ческой»*) живостью. Вслед за этими разъяснениями становится очевидным, что и сновидения не суть доказательство того, что будто всё имманентное сознанию состоит только из субъективных психических состояний. Сновидения в большинстве случаев суть субъективные синтезы вспоминаемых транссубъективных данных прошлого опыта, а, кроме того, некоторые сновидения, например, вещие сны, суть проявления ясновидения и, следовательно, подлинного созерцания действительности.

*) Эйдетизм — способность сохранять живой, наглядный образ предмета долгое время спустя после исчезновения его из поля зрения, явление, близкое к очень яркой и образной памяти. — Р е д.

Обычные сновидения, состоящие из субъективных синтезов транссубъективных элементов, глубоко отличаются от подлинного восприятия действительности в бодрственном состоянии. Восприятия предметов внешнего мира (зрительные, звуковые, осязательные, вкусовые, обонятельные) состоят не только из опознавания самого предмета внешнего мира, раздражающего органы чувств и все наше тело, но также содержат в себе и сознание этого раздражения тела, этих как бы щупальцев, проникающих из внешнего мира в наше тело. Поэтому восприятия обычного типа имеют характер особенной внушительности, усиливающей свидетельство о том, что в них подлинно имеется общение наше с внешним миром. В воспоминаниях, в псевдогаллюцинациях и в обычных сновидениях нет этой динамичности предмета, пронизывающего наше тело, и этим они глубоко отличаются от восприятий наличной действительности. Поэтому принять обычные сновидения за восприятие действительности можно только в сонном состоянии при пониженной способности критической оценки своих переживаний, а в бодрственном состоянии, воспринимая действительность и пользуясь всеми средствами критики, нельзя ставить вопрос, не есть ли мое восприятие только сон, и нельзя подкрепить такое сомнение убедительными доводами. Сновидение можно принять во сне за действительность, но действительность нельзя принять за сновидение. Правда, при крайней депрессии бывает у человека и в бодрственном состоянии такое ослабление внимания к *существованию* предмета воспринимаемой действительности, что он может поставить вопрос, не есть ли это сон или, точнее, не есть ли это нечто только кажущееся мне, но пока человек не впал в тяжелую душевную болезнь, он знает, что этот вопрос возникает у него в связи с его ненормальным состоянием и ослаблением силы восприятия.

Наличность предмета в сознании и та очевидность, которая есть самосвидетельство предмета о себе, представляют собою абсолютно достоверный критерий истины. Однако из приведенных соображений видно, как неправ Соловьев, думая, что данность предмета в сознании исключает споры о нем. Абсолютный критерий истины у нас есть, но пользоваться им не так легко, как кажется. Виноват в этом не критерий, а мы, пользующиеся им неумело. Положение тут подобно тому, что бывает в хирургической клинике: хирургические инструменты могут быть великолепны, но успешность операции зависит не только от инструментов, а и от того, умеет ли хирург искусно пользоваться ими. Источников

спора о предмете, имманентном сознанию, много, как это указано было выше. Тот, кто подлинно усмотрел очевидные самосвидетельства предмета, может сравнительно легко найти у своего противника причины заблуждений его, например, слепоту к предмету, односторонность опознания сложного предмета, предвзятость и предпосылки, из которых возникают неправильные требования к предмету, субъективные примеси и т. п. Прав был Спиноза, говоря: *veritas est index sui et falsi* (истина есть критерий себя и заблуждения).

Чтобы быть вполне уверенным в истинности суждения, необходимо подвергнуть его глубокому анализу и проверить, каждый ли элемент его дан самосвидетельством наблюдаемого предмета. Вследствие трудности этой критики и опасности субъективных примесей необходимо контролировать свои суждения путем всех средств, выработанных наукой. Полезно, например, подтверждение данных зрительного восприятия данными осязания, пользование не только наблюдением, но, если возможно, и экспериментом, и т. п. Все эти приемы имеют, однако, цену лишь постольку, поскольку и они основаны на включении самого предмета в подлиннике в кругозор сознания и на самосвидетельствах его, подтверждающих друг друга. Таким образом, интуиция, т. е. непосредственное созерцание предмета в подлиннике, есть необходимое условие знания: если бы мы не были способны непосредственно созерцать предметы внешнего мира, у нас не было бы никакого знания о внешнем мире.

Некоторые философы особенно ценят «социальный критерий истины», именно интерсубъективность ее. Но если они при этом отрицают непосредственное восприятие чужого Я и думают, что в опыте даны только чужие телесные процессы, как, например, мы находим это у Гуссерля или Карнапа, то их учение об интерсубъективности приобретает весьма курьезный характер. Так, Гуссерль говорит, что без идеи интерсубъективности нельзя иметь опыта «объективного мира» (*Méditations cartésiennes*, стр. 80). Но при этом он учит, что другая монада «конституируется в моей монаде» путем аппрегензии*) по аналогии (стр. 97). Таким образом, трансцендентальная интерсубъективность «конституируется как существующая вполне во мне самом (*purement en moi-même*), в размышляющем его, конституируется как существующая для меня средствами моей интенциональности (стр. 111). И такая

*) Аппрегензия — восприятие, понимание, способность схватывать, представление. — Р е д.

только воображаемая интерсубъективность, конституируемая путем вчувствования, есть условие идеи объективности!

В случае трудности возведения предмета или каких-либо сторон его в сознание приходится довольствоваться знанием не достоверным, а только более или менее вероятным. Таковы, например, гипотезы. Но всякое вероятное знание в основе имеет непосредственное достоверное знание, субъективно перенесенное на трудно познаваемый предмет. Таким образом, и оно невозможно без помощи интуиции. Вообще без непосредственного восприятия хоть каких-либо элементов мира в подлиннике никакое знание было бы невозможно. Если философ утверждает, что мы познаем предметы не в подлиннике, а посредством символов, он должен все же признать, что сами эти символы мы познаем не посредством новых символов, а наблюдаем их в сознании в подлиннике. Если Кант утверждает, что мы познаем предметы только как явления, конструированные рассудком посредством априорных категорических синтезов, то сами эти априорные формы познаются не посредством новых априорных форм, а путем непосредственного наблюдения их в подлиннике. Таким образом, всякая гносеология, отвергающая интуитивизм, должна содержать в себе все же частичный интуитивизм, т. е. принуждена быть в этом смысле *дуалистической* системой. Только интуитивизм может быть *монистической* гносеологиею, т. е. может понимать все виды достоверного знания как непосредственное созерцание предметов в подлиннике.

Предметы не сами вступают в кругозор нашего сознания, а вводятся в сознание субъектом, направляющим на них свои интенциональные акты. Таким образом, объективная сторона знания всегда сопутствуется субъективной стороною. Поэтому анализ и мысленное обособление этих двух сторон знания очень затруднены. Громадное большинство людей не производит этого анализа и признает существование только одной стороны этого целого, вследствие чего возникают следующие два противоположные друг другу заблуждения. Лица, привыкшие пользоваться внешним опытом и наблюдать материальные процессы, почти не замечают душевных состояний и становятся материалистами. Они могут дойти до такой крайности, что совсем отрицают существование психических процессов и сознания, как это делают некоторые бихевиористы*). Наоборот, лица, отдающие себе отчет

*) Бихевиоризм — теория в психологии, игнорирующая явления сознания и всецело сводящая поведение человека к физиологическим реакциям. — Р е д.

в том, что без психической деятельности субъекта предмет не может быть сознанным, переносят субъективно-психический характер интенциональных актов также и на объективную сторону знания и становятся сторонниками учения, что весь состав сознания складывается из субъективных психических состояний. Мыслители первого типа видят только материальные предметы, мыслители второго типа говорят, что материальное в опыте совсем не дано.

Во избежание той и другой крайности нужно, разграничивая интенциональные акты и предметы их, закреплять результаты анализа посредством слов, точно указывающих, о какой стороне сознания идет речь. Обычно употребляемые в разговоре слова — сознание, восприятие, ощущение, представление, воспоминание — имеют три разных смысла: они обозначают субъективную и объективную стороны вместе, или только субъективную сторону, или только объективную сторону. Когда мы хотим достигнуть совершенной точности, нужно бывает заменять перечисленные слова следующими выражениями: акт сознания (сознавание) — сознаваемое, акт восприятия (воспринимание) — воспринимаемое, акт ощущения — ощущаемое, акт представления (представление) — представляемое, акт воспоминания — воспоминаемое. В немецком языке такая терминология хорошо выработана в трудах Brentano, Husserl, Meiser и др.; в английском языке в книге Александера «Space, Time and Deity».

Философ, не отграничивающий путем мысленного анализа интенциональные акты познания от предметов знания, невольно поддается иллюзии, будто временная форма интенциональных актов принадлежит также и всем предметам их; поэтому он думает, что всё имманентное сознанию состоит из событий. Иными словами, он думает, что в сознании находится только реальное бытие, а бытие идеальное, невременное и сверхвременное, в сознании не дано. Поэтому-то, как мы уже видели выше, Вл. Соловьев полагает, что в сознании не наличествует Я как субстанция, а имеется только мысль о Я (стр. 173), причем эту мысль он понимает как процесс, и самое большее, что он находит в сознании, есть только форма сочетания множества переживаний в виде единства сознания, т. е. форма, подобная той, о которой говорит Кант, формулируя понятие трансцендентального единства апперцепции.

(Окончание следует)

Человек без прилагательного

*...И потому туман вдали
Роднее нам, чем род и племя,
И внятней голосов земли.
З. Миркина*

Мы живем на пороге нового Вавилона. И не можем не оглядываться назад, на старое доброе время. Но мы не можем вернуться назад.

Недавно одна девушка-фольклористка выходила замуж. Невеста и ее подружки исполняли вологодский свадебный обряд. Гости старались вжиться в свои архаические роли, тысяцкий (он, кстати сказать, был евреем) делал это довольно артистично. Но всё было игрой. Старая вологодская деревня, в которой иначе справить свадьбу просто невозможно было подумать, с этими обрядами, завещанными бабками, стала такой же экзотикой, как Таити. Девушки-африканистки могли бы исполнять танцы с там-тамом, а студенты-индологи — танцы Радхи и Кришны. Всё это одинаково легко входит в стены московской квартиры.

Но то, что было когда-то единственным, жизненно необходимым занятием, становится игрой, одной из многих игр, которую можно полюбить или отбросить. Австралийцы, бушмены, пигмеи живут тем, что собрали за день в лесу или в пустыне; мы ходим по грибы. Крестьяне вкладывают в землю всю свою жизнь; мы окапываем яблони на десяти или тридцати сотках. Это хорошая игра. В ней часто больше творческого, чем в будничной умственной работе. Но можно ничего не собирать в лесу, кроме солнечных зайчиков, и это даже лучше. А грибы или яблоки продаются на базаре. Всерьез мы работаем головой за своим письменным столом. Всерьез мы живем в Вавилоне, а в Аркадию только играем.

Мы едим хлеб, сжатый и обмолоченный людьми, которых по привычке называем крестьянами, но мы не живем в крестьянском

Рукопись получена из России. См. того же автора в «Гранях» в № 64 «Квадрильон» и в № 67 «О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива». — Р е д.

обществе, мы не окружены народом. Крестьянства становится слишком мало, чтобы окружать нас. В Соединенных Штатах сельским хозяйством занимается 7 процентов населения. Больше не нужно, чтобы обеспечить остальные 93 процента хлебом, маслом и молоком. (В США — 300 литров на человека в год. В Индии — 6 литров. Сколько у нас — Бог весть). Даже остаются излишки, чтобы подкармливать крестьянскую Индию, где хлебопашествует 80 процентов населения*).

Фермеров в США меньше, чем студентов и профессоров университетов. Но главное то, что фермер — уже совсем не крестьянин. Это работник сельского хозяйства в научно-промышленном обществе. Он гораздо дальше от крестьянина, чем традиционный ремесленник (труженик города, но росший в обществе, костяком которого было крестьянство). Возьмем еще более крайний, еще более парадоксальный случай: в Израиле кибуцники, образцовые сельские хозяева, у которых учатся агрономы Африки и Юго-Восточной Азии, создали лигу борьбы с религиозным принуждением. Это носители «городского» научного мировоззрения; а ремесленники, вывезенные в 1948 г. на самолетах из Йемена, бросают камни в автомобили, нарушающие день субботний.

Крестьяне и ремесленники вместе берегли, как зеницу ока, веру отцов, обряды отцов и составляли народ, с народными песнями, с народной вышивкой и народными предрассудками. А что поют колхозники? Да то же, что пролетарии. Какие-то остатки крестьянского наследства, какие-то мелодии, вбитые в школе, в армии по радио.

Крестьянство исчезает. Оно оставило глубокий след в нравственном и эстетическом сознании человечества, оно было мостом между племенем и чем-то еще, что еще только складывается. Но оно исчезает.

Кажется, что этого не может быть. Что народ и общество — неотделимые понятия, что народ с историей — близнецы-братья, и там, где есть общество, история, непременно должен быть народ. Но где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы

*) То, что у нас в деревне — половина населения, конечно, факт; но факт скорее вчерашний, чем сегодняшний. Нечто вроде заторможенного вчера. Нельзя считать прочной социальной действительностью то, что искусственно удерживается с помощью паспортной системы. Строить на этой «почве» — значит строить на песке. — Г. П.

снега весной, островки снега в глухих углах леса. Есть еще углы, где можно записать вологодский свадебный обряд, где доживает свой век старуха Матрена и реабилитированный Иван Денисович. Но народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гоголя — больше нет.

Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае от рабочего ничего уже и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но...» Или бригады двоечников, срезавшихся на экзаменах, вводят в университет, чтобы бить студентов, — как в Варшаве.

Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т. п., без чего нельзя представить себе XX век, но решительно ничего, способного оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив.

Я помню, на лекции по фольклору профессор Соколов каялся, что в бытность свою буржуазным ученым занимался только крестьянским фольклором и недооценивал пролетарский. После этого перекованный Юрий Матвеевич посвятил целую лекцию, а может быть, и две, фабричной частушке. Запомнилась одна, в которой он нашел богатые созвучья и главное — ярко выраженное пролетарское классовое сознание:

Инженеру Покатило
Рожу паром обварило,
Жалко, жалко нам, ребята,
Что всего не окатило!

В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами — народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности. А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынула песня, стихи, проза, философские

эссе, абстрактная и конкретная живопись. Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке — графоман.

Родник бьет снизу — мимо официальных писательских организаций. Но это совсем не народные низы. Скорее это верхи в смысле образованности. Пишет очень широкий слой — от шофера такси О. до математика В., но явно преобладают верхи.

Появилась потребность осознать себя духовно, оставаясь ученым, интеллектуалом, не бросая своего НИИ. Это какой-то Ренессанс наизнанку. Тогда художники (оставаясь художниками) становились математиками. Сейчас математики (оставаясь математиками) становятся художниками и поэтами. Если правда, что нет народа без песен, то именно здесь складывается хребет нового народа — или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. И так же, как народ заменил племя, новое что-то заменит народ. И так же, как неправ бушмен, для которого переход к крестьянскому труду — святотатство, неправ и крестьянин, для которого уход от власти земли, крови, родства, «веры отцов» — святотатство. Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа — народ — лежит, потеряв свою жизнь, в пыли.

Любопытно, что наши менестрели — какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но всё это горожане, горожане без почвенной основы, не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу, в которой Сталин брал своих Абакумовых и Рюминых... Это — новая элита, устоявшаяся над затихнувшей, переставшей колыхаться массой, как над снятым молоком... Можно, конечно, называть народом любую массу трудящихся: язык без костей. Тогда слесаря и бухгалтеры, ткачихи и следователи суть народ. Песни, передаваемые по радио, — суть народные песни. А Окуджава, Галич, Ким, Высоцкий — гнилые интеллигенты, подвергшиеся растленному влиянию Запада. (Так это, кажется, звучит на языке супруга товарища Парамоновой*). Но где парамоновские обряды и плачи, песни и пляски? Где парамоновская нравственность?

Мое замечание об исчезающем крестьянстве, высказанное впервые в полемике с М. А. Лифшицем, шокировало почвенников. Но что делать! Не я придумал (это сделала история), что крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьян-

*) См. Александр Г а л и ч. Песни. Стр. 73. Изд-во, «П о с е в», 1969 г. —

ство исчезло, — это нации, в которых исчез голод. Я не виноват, что сейчас обществу выгоднее большую часть сил тратить на ответственную работу, а совсем малую — на обработку земли.

Во-вторых, численно второстепенная группа не означает группы, без которой можно обойтись, от которой можно отвлечься. Мои оппоненты, видимо, стихийно исходят из архаической модели народа, в котором крестьянские общины, живущие натуральным хозяйством, могут веками обходиться без города, а город без них и году не проживет. Сейчас такое общество сохранилось только в джунглях. Сейчас все группы зависят друг от друга, и в этом едином обществе ни одна группа не в праве считать себя коренной. Вопрос можно поставить только так: какая группа, добившись того, чего она хочет, способна изменить к лучшему все общество? Крестьянство или интеллигенция?

На этот вопрос ответил опыт Польши и Чехословакии. В 1956 г. Гомулка распустил большинство колхозов и дал крестьянам окрепнуть. В результате восстановлено было консервативное село, и на него сегодня опирается самая реакционная в Восточной Европе бюрократия. Напротив, в Чехословакии победила интеллигенция, добившаяся, прежде всего, свободы слова. Казалось, какое дело до этого рабочим и крестьянам? Но интеллигенция немедленно выдвинула идеологов, занявшихся положением других слоев общества, положением общества в целом, и вся страна пришла в движение. Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. Поэтому и *только* поэтому я против чрезмерного акцента на важности деревенских проблем, трагедии крестьянства и т. д. Деревенские проблемы надо решать, но если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме.

Группа, второстепенная с точки зрения социолога, может быть, однако, первостепенной для писателя (например, белые Юга США для Фолкнера), и писатель может раскрыть в жизни этой группы величайшие духовные ценности. Я горячий поклонник «Матрениного двора». Но я против переноса в современность комплекса неполноценности, с которой русский либеральный барин прошлого века подходил к мужику (или птичнице):

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Заниматься искусством, наукой...

Нельзя подходить к современному «белому воротничку» с мерками Некрасова и корить его легкой работой. Работа интелли-

гента (если говорить о миллионах учителей, врачей, инженеров) совсем нелегкая, совершенно необходимая для общества (успевшего с XIX в. сильно измениться) и оплачивается в нашей стране из рук вон плохо. Поэтому я с некоторым удивлением читаю такие вещи, как «Письмо физику», в котором говорится, что ученый должен испытывать угрызения совести, когда ест яичницу, — так мало он работает сравнительно с птичницей и так мало действительной пользы людям приносит его труд.

Я глубоко сочувствую попытке вызвать у prostituiруемой интеллигенции угрызения совести. Но почему только перед птичницей? Почему не перед учительницей, слепнущей над тетрадками, не перед амбулаторным врачом? В подчеркивании ответственности перед птичницей (по некрасовскому шаблону) есть своя опасность (отсутствовавшая в некрасовские времена). Эта опасность в том, что поддерживается народный предрассудок, по-старому смешивающий всякий умственный труд с барством, и сталинская политическая традиция, основанная на этом предрассудке: 1) всякий человек с авторучкой называется интеллигентом; 2) народная ненависть, вызванная некоторыми людьми с авторучкой, поровну распределяется на всех; 3) в критические минуты некоторые люди с авторучкой тактично забывают, что сами они называли себя интеллигентами, и в качестве *слуг народа* науськивают массы на действительную интеллигенцию, ищущую чего-то лучшего.

Совершенно необходимо улучшить положение птичницы, и скотницы, и тракториста, но не их одних*). Есть много других тяжелых и неприятных работ. Развитие науки, освободив мышцы, так перегрузило голову, нервы, что миллионы людей приходится брать на учет к психиатру. Я не думаю, что труд инженера-эконо-

*) Забота о птичнице безотлагательна, если птичница голодает. Но с этим хорошо справляется научно-технический прогресс. Из приложенной таблицы видно, что разумное и благородное в Нью-Дели становится нелепым в Стокгольме.

Заработки в неделю в долларах

	Строитель	Бухгалтер	Секретарша
Нью-Йорк	248,00	127,50	125,00
Стокгольм	122,64	94,64	99,02
Токио	44,00	40,20	50,00
Белград	25,00	40,00	30,00
Нью-Дели	3,33	40,00	18,50

миста веселее косьбы. Не надо никого упускать из виду, не надо считать человека благополучным, потому что он работает под крышей. А то вместо сочувствия автору письма у меня рождается сарказм: если ученому нельзя есть яичницу без угрызений совести, то ведь, пожалуй, нельзя и на стульчак сесть без угрызений совести (перед ассенизаторами, например. Страшно подумать, во что превратился бы современный город без ассенизаторов. Легче было бы обойтись без романа «Поднятая целина»).

Птичник, который волнует сейчас писателей, отвратителен. Но ведь это ад не только для людей, но и для кур. Это очень плохой птичник. Наша страна импортирует битую птицу и яйца — своих не хватает. Как, впрочем, и хлеба в иные годы. Никакой всемирно-исторической необходимости в этом нет, просто порядок, заведенный в сельском хозяйстве, очень плох, и надо ввести какие-то другие порядки, проверенные опытом других стран (хотите — индивидуальные, как в Дании, хотите — коллективные, как в израильских кибуцах, но, во всяком случае, сложившиеся снизу, а не сверху, не навязанные).

Мы еще не выполнили свой долг перед птичницей. Но по крайней мере известно, как это сделать. А как быть с младшим научным сотрудником Акакием Акакиевичем, пожизненно осужденным готовить бумаги Значительному лицу? Этого никто не знает, и мы в потемках ищем ответа, одновременно с Европой и Америкой, которые по крайней мере о птичнице могут не думать. Потому что мы не только страна плохих, неэффективных колхозов, но и страна эффективных ракет. И наряду с провинциальными задачами, общими для слаборазвитых стран, мы вынуждены решать и задачи современные, «модернистские». И мне бы хотелось, чтобы мы не забыли об этой стороне дела, требующей больших усилий мозга (потому что это как раз сторона неразведанная).

Что бы ни творилось в деревне, как бы ее ни калечили, большинство сельских работ по природе своей здоровее и веселее, чем работа в горячем цеху или поиски ошибки в платежной ведомости. Толстой косил, ходил за плугом, но я не видел человека, который для собственного удовольствия шел бы делать из вонючей резины галоши или редактировать библиографический указатель. Прimitивные формы труда основаны на живом внутреннем ритме или на прислушивании к ритму окружающей человека природы. Они сохраняют свою ценность и тогда, когда теряют экономический смысл. Мы не жалеем потратить целый день, чтобы поймать несколько рыбешек, выращиваем в комнате лимоны, печем в духовке пироги (хотя кондитерская за углом) и прочее. К сожалению, ос-

новная наша работа совсем другая — механическая, опустошающая. Только очень небольшое меньшинство способно получать деньги за творческий труд. Я к этим счастливым не отношусь, и то, что давало смысл моей жизни, делал бесплатно, а работал грузчиком умственного труда, почтовой лошастью. Уверяю вас, господа почвенники, — это не синекура.

Что же делать? Один мой знакомый сказал, что из искусственного положения приходится искать искусственный выход. Такой выход — сервис, то есть компенсация за потерянные нервы. Мышечную силу можно было нахлестывать кнутом, силу ума — только пряником. Начиная с парикмахерской, в которой три мастера ждут одного клиента, кончая музыкой, поэзией, живописью. Спешу оговориться: речь идет не об одной ученой элите. Это общий уровень человеческих отношений, на который вышли все северные страны (кроме нас) и к которому быстро приближаются страны, расположенные южнее (Италия, Япония, Израиль).

К сожалению, и этот уровень недостаточен. И на нем главная проблема остается нерешенной: проблема духовного вакуума.

Теплый хлев с холодильником, автоматической подачей корма и зелеными лугами по телевизору был бы совершенно достаточен для скотины, но человек, попавший в этот рай, не чувствует себя счастливым. Он работает, хорошо работает, он много производит и много потребляет, но ему потихоньку становится тошно. И тогда он норовит поддаться пинка роскошным автоматическим устройствам, на которые с такой завистью смотрят народы Азии, Африки и Латинской Америки. Народы, узнавшие из голливудских картин про сладкую жизнь, но не научившиеся еще организовывать жизнь по-американски и обвиняющие в своей бедности империалистов, сионистов и советских ревизионистов.

Северные страны решили экономическую проблему, создали пролетариям в синих и белых воротничках буржуазную жизнь, лечат пролетариев в хороших лечебницах, дают возможность провести отпуск на взморье, — словом, сделали всё, на что способна хорошо развитая наука. Но наука не может научить пролетария чувствовать ритм облаков на заре и повторять его на свирели, как делал пастух в холщовых портах, никогда не видевший синего моря.

Наука знает очень много вещей и может узнать еще больше, но смысл жизни — это не вещь. Его нельзя ясно очертить, его нельзя «формализовать». Он дается, может быть, мудрости, но мы совсем забыли, что такое мудрость. Мы умеем готовить хороших ученых, но у нас нет посредственных мудрецов. Мы точно, науч-

но, изящно решаем очередные проблемы — и стоим в тупике перед целым: голову вытащим — хвост увязнет. Хвост вытащим — голова увязнет.

Основных проблем, вставших перед человечеством, мы в нашей стране давно не создаем.

Борьба с местными нелепостями провинциализировала наш дух: это видно даже по лучшим произведениям нашей литературы. Подобно Испании XVII века, мы боремся с трудностями, которые сами себе создаем, и постепенно изнемогаем в этой борьбе.

Мы всё еще (как в XIX веке) считаем экономику первичной, строим домны, когда нужна химия, и большую химию, когда нужна эстетика, чтобы стимулировать серое вещество мозга. Мы загородились пограничниками от утечки мозгов и не замечаем, что мозги уходят во внутреннюю эмиграцию. Мы всё время догоняем по заброшенной дороге, всё время исходим из постулата, что история идет по прямой, а она кривая, она меняет направление.

Есть любопытные социологические законы, например, — закон постоянного упадка удельного веса труда, прямо связанного с удовлетворением элементарных потребностей и выдвиганием всё более далеких от домоводства форм деятельности. Физиократы ошиблись, думая, что крестьянский труд навсегда сохранит доминирующее положение в обществе. Экономисты XIX века ошиблись, думая, что такое положение сохранит промышленный труд. Сейчас на первое место выдвинулось производство научно-технической информации, но было бы наивно думать, что это конец, за которым невозможны никакие другие сдвиги. Они не только возможны, но прямо необходимы. Рост значения умственного труда вызывает новую задачу — производства творческого состояния, производства такого состояния мозга, при котором он решал бы свои задачи играя. Так же, как мощная промышленность удешевляет силы земледельца, сфера, занятая производством творческого состояния, удешевляет силы физика или математика и делает ненужным загонять в ученые половину населения. Это очень широкая сфера: спорт, туризм, искусство, обрядность, психотехника йоги или дзен. Можно вспомнить слова одного из образованнейших людей XX столетия О. Хаксли: заниматься мистическими упражнениями так же полезно, как чистить зубы.

Во-вторых, есть закон падения удельного веса доминирующей формы труда. Бушменский род целиком занят охотой и собиранием съедобных корешков. В крестьянских нациях 80-90 процентов населения заняты сельским хозяйством. Удельный вес пролетариа-

та не превысил 50-55 процентов и в США начал падать (в настоящее время до 37 процентов самодеятельного населения). Маловероятно, чтобы количество ученых когда-нибудь достигло и трети населения. Старые занятия не исчезают. До сих пор есть профессиональные охотники, рыболовы. Никуда не денется и только отодвинется в тень и земледельческий, и промышленный труд, и организация порядка, бюрократия (в веберовском, а не в ругательном смысле этого слова). Одновременно появляются новые и развиваются старые «занаученные» формы деятельности (т. е. еще более далекие от экономики). Общество становится всё более плюралистическим, всё более сложным. Ничего подобного старому монолитному народу впереди не маячит. И ни ученые, ни какая-либо другая группа производителей вакантного места народа не займет.

Производство вообще перестает быть главным человеческим делом. Даже производство формул. Мы стоим перед великим поворотом. Забота о пропитании в развитых странах отодвигается на второй план. И вместе с этим на второй план отодвигается борьба за власть над природой. С тех пор, как средний человек и при нынешней власти над природой не знает, что делать со своим досугом, и бунтует, как американский битник, не от голода (он сыт), а по каким-то другим, психологическим мотивам, — дальнейшее расширение власти над природой теряет право первородства. Приходится напоминать, что никакая власть не дает счастья. В том числе и такая утонченная власть, как знание. Мы счастливы скорее тогда, когда всё забываем. Никакая наука не научит нас, чем заполнить свой досуг. «Цивилизация досуга», о которой сейчас много говорят и пишут, это не цивилизация науки.

Устойчивость всякой культуры и внутренняя устойчивость личности основаны на равновесии дела и праздника. В идеале они сливаются:

Непостижимо то, что Господом зовут.

Его покой в труде, в Его покое труд.

Божество, каким Его представлял себе Ангелус Силезиус, в каждый миг созерцания действует и в каждый миг действия остается погруженным в праздное созерцание.

Но обычно дело и праздник выступают каждый сам по себе. Дело — функция ослабленной единицы (личности или группы людей). Праздник — подхваченность волной, в которой тонет, смывается всё личное или узкогрупповое, ясно очерченное, закрепленное рассудком.

Обнимитесь, миллионы!

Были эпохи, ценившие праздник выше дела. Самая близкая нам началась со слов Христа: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом...» (От Луки, гл. 10, 41.) Праздную Марию Иисус поставил выше деятельной Марфы. И в течение всех средних веков люди жили под знаком этой притчи, не придавая большой ценности делу. Не сходить на праздник в церковь считалось гораздо большим грехом, чем плохо работать.

Однако Иисус сеял в вечности. Во времени Его семена падали на каменистую почву. Даже столпников надо чем-то кормить, а способы возделывать землю Христос не изменил. И по мере того как равновесие праздников и будней, нарушенное при распаде племенных культов, было восстановлено, — дело снова поднялось в цене. По крайней мере в Европе, сохранившей закваску римских деловых людей. На рубеже XIV в. Мейстер Экхарт пересказывает притчу о Марфе и Марии на свой лад. Из глубины созерцания, — говорит Экхарт, — рождается новый порыв к действию. Этот порыв выше пассивного созерцания, Марфа выше Марии. Созерцание только ступень, на которой деятель освобождается от суеты, от себя, раскрывается перед Богом. Когда же Бог наполнит душу, наступает второй час действия, действия, вдохновенного Богом (примерно так, как это описано в пушкинском «Пророке»).

Таким пророческим движением Макс Вебер считает европейский протестантизм (мистика которого, говорят, связана была с традицией Экхарта и других еретиков средневековья). А из него, по Веберу, выросло всё Новое время... Может быть, на самом деле оно сложилось совсем не по Веберу. Но поворот к делу действительно наступил. Прошло несколько веков, и Гёте поставил Дело взамен самого Слова Божьего. Фауст дерзко переводит «Логос» немецким «Тат» — дело, деяние, поступок.

Еще через сто лет это было пересказано прозой: «Философы только объясняли мир. Задача заключается в том, чтобы его переделать»^{*)}.

...Оглядываясь назад, можно увидеть, что Новое время было только последней волной длинного процесса «рационализации» человеческих отношений к миру, начавшегося давным-давно, где-то в глубинах каменного века (и только пошедшего в Новое время скорее). По крайней мере несколько тысяч лет, всю историю цивилизации человек учится работать. Он еще сейчас учится в слаборазвитых странах. Но в Европе ученик исчерпал себя. Сове-

^{*)} К. Маркс. 11-й тезис о Фейербахе. — Г. П.

менный поэт не повторит слова Фауста: "«В начале было Дело!»" Скорее он скажет вместе с О. Мандельштамом:

Есть блуд труда, и он у нас в крови...

Говоря о терминах Маркса, мы слишком хорошо усвоили 11-й тезис и слишком мало думаем о другой, более глубокой мысли, изложенной в третьем томе «Капитала»: «Царство свободы начинается по ту сторону производства, диктуемого нуждой и материальной необходимостью...»

С этой точки зрения, чисто деловой подход к «производству творческого состояния», который я изложил, оказывается недостаточным, мелким. Праздник нужен не для чего-то, а для самого себя. Именно в нем, а не в работе, человеческая душа достигнет своей естественной или божественной широты.

Я праздник твой, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твое седьмое небо!

М. Цветаева

Но праздник есть только там, где есть благоговейная отдача себя чему-то высшему, чем дело. Праздник невозможен без по крайней мере *минуты* благоговения. Отнимите у Нового года — единственного праздника, который у нас остался, — минуту благоговения, какого-то мистического трепета перед стрелкой часов, подошедшей к двенадцати, и праздника не будет. Останется только пьянка. А иногда, перед пьянкой, — официальная скука.

Всё это относится к внутреннему празднику, к «празднику, который всегда с тобой», по выражению Хемингуэя. Если нет чувства святости природы, то что останется от вечерней зари? Время, в которое можно пройтись с похабной частушкой. Если нет отношения к женщине, как к святому причастию, то что останется от праздника любви?

Равновесие дела и праздника сохранилось в примитивных культурах, племенных и народных. В этом их неуязвимая прелесть. Но это — обрядовое равновесие, тесно связанное с исчезнувшими и неисчезающими формами труда. То, что могло войти в городскую цивилизацию, уже вошло в церковную обрядность, и возвращать ее назад к язычеству невозможно. Достаточно прекратить травлю церкви, восстановить естественную роль ее в современной культуре, по примеру других цивилизованных стран. Но в современных условиях едва ли не важнее всего внутренних

праздник, а его как раз народу не хватало. Созерцание природы, созерцание искусства, любовь — все это совершенно не народно. По крайней мере в России. Есть, конечно, Япония с ее любованием цветущей вишней и горой Фудзи, но это экзотика. Любовь?.. За народностью любви пришлось бы ехать в тридесатое царство, в тридесатое государство — к племени ансаритов в древней Аравии.

Я из рода бедных азра.
Полюбив, мы умираем...

Г. Гейне

Трубадуры, миннезингеры — это штука шляхетная, рыцарская и по преимуществу европейская. У нас — одна из вольностей дворянских. О мужицком отношении к любви недавно напомнил нам А. И. Солженицын: «Женятся для щей, замуж выходят для мяса».

То, что было у нас в народе хорошего (правда — истина — справедливость) — в обломках. По народной же поговорке, на том месте, где была совесть, вырос . . . (знатоки народности заполняют здесь пробел). Все тяжелое, тупое, темное может прочно опираться на народную массу, массу персонажей Галича, Высоцкого и Олешковского, массу, духовное состояние которой выражено в «советской пасхальной»:

...Давай закурим опиум народа,
А он покурит наших сигарет.

Заговорив о любви к дальнему, о любви к чужому, я вступаю на опасную дорогу. По правилам, установленным для варшавских студентов, можно любить только одну нацию. Так же, как можно болеть только за одну футбольную команду, одну балерину, одного тенора. Лучше всего — передавая эту простую однозначную привязанность по наследству. На худой конец — корпорация болельщиков может усыновить вас. Но ни в коем случае нельзя болеть за две, три, пять команд сразу. Это космополитизм. *Идея* интернационализма останется вне спорта (о догмах не спорят), но *чувство* может быть только простым, однозначным. Или вы за «Торпедо», или за «Спартак». Если вы чувствуете своими одновременно Польшу и Израиль, то этого не может быть, потому что не может быть никогда, потому что это противоречит психологии футбольного болельщика, а другой, более сложной психологии пан Гомункулус не понимает. Тот, кто привязан более чем к одной традиции, с его точки зрения, не любит ни одной.

И вообще, о чем говорить? Духовный кризис? Но классиков издают миллионными тиражами. Упадок культуры? Но литфонд, худфонд и прочие фонды выдают инженерам человеческих душ большие субсидии. Остается только развести руками и смолкнуть, как Достоевский, пересказав историю гоголевского поручика Пирогова. Тут простодушие, которое ставит в тупик. Никакого противоречия между научно-техническим и духовным развитием функционер не чувствует. Он твердо идет по намеченной колее, как И. В. Сталин, как паровоз, тянущий за собой целую кучу вагонов. Он просто не понимает, что все прямые дороги истории ведут в тупик, что железная воля кончается грудой железного лома. В этой тупости деятеля (отмеченной еще в «Записках из подполья») — секрет «чудодейственной воли» сталинистов, воспетой Горьким, воли, перед которой трепетали размагниченные интеллигенты, воли, по которой до сих пор тоскуют многие простые люди России. Есть только одно направление развития, одна колея. Техника в период реконструкции решает всё. И нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять.

На строительство школ, техникумов, университетов расходуются миллиарды. Количество людей, получивших среднее и высшее образование, — растет. Интеллигенция имеет ясную и простую задачу — помогать развитию экономики, а также помогать функционерам крепить духовное единство (болеем за *нашу* футбольную команду, *наше* правительство, *наши* органы охраны порядка).

Других непонятных невеждам духовных потребностей нет, потому что народ этих потребностей не имеет (в этом пункте пан Гомункулус отчасти прав). Крики о духовном голоде — романтическая чушь, происки классового врага или беспокойство евреев, которые вовремя не уехали в Израиль и поэтому сами не могут по-человечески жить и других сбивают с толку. Мы дадим им паспорта — пусть едут в Израиль.

...А если я не хочу ехать? Если я кровью связан с этой страной, но не только с этой, а и с другими тоже? Если

Слаще пеня итальянской речи
Для меня родной язык,
Потому что в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник...

О. Мандельштам

Что же мне делать тогда, пан Гомункулус? Если правы вы, для меня нет места на земле. Если я прав — вы динозавр, и место ваше — в палеонтологическом музее.

В марте 1968 г. в Польше (если судить о ней по прессе*) возникла прискорбная, но математически очень красивая ситуация (трагическое вообще красиво; см. любую эстетику). На одной стороне — интеллигенция, томимая духовным голодом XX века. На другой — все остальные, для которых шляхтичи, неспособные примириться с хлопским руководством культурой, просто с жиру бесятся. Поражение интеллигентов можно было предсказать: духовные интересы никогда еще не побеждали в таком чистом виде, без смеси с чем-то вполне материальным, без союза с буржуазией, пролетариатом, крестьянством, бюрократией, технократией или кем-нибудь еще. Сами по себе Турбины могут только красиво погибнуть. Но зато в предельной ситуации (которой не дай нам Бог!) есть огромное теоретическое преимущество: видно, что собой представляет интеллигенция в чистом виде, без примесей, интеллигенция сама по себе.

Это часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу. И если считать, что процесс гоминизации, очеловечения человечества еще не окончился и что это важнейший процесс истории, то интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т. д.: фермент, движущий историю. Если ему удастся вызвать брожение не только в себе.

Один из моих друзей заметил, что этого слоя теперь нет. Что если исчез народ, то интеллигенция тоже исчезла, что человек в обеих своих формах, любимых Монтемом, — и как философ, и как простой мужик — сейчас выводится, растворяется в массе. Однако масса — это только полуфабрикат, аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами, между двумя воплощенными системами ценностей. Был век Перикла, потом наступил век отцов Церкви, а между ними — римская масса. И нынешняя масса вполне может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы. Вот эту роль веточки, опущенной в перенасыщенный раствор, я отвожу интеллигентной интеллигенции. Я не говорю, что интел-

*) На самом деле, говорят, положение было иным, более сложным.
— Г. П.

лигенция вся есть эта веточка, этот стержень. Наоборот, нынешняя интеллигентская масса напоминает скорее кучу слизнякав. Я просто верю, что она может измениться и потянуть за собой других. Я убежден, что другого выхода нет, что человеческая веточка скорее возродится как полноценный интеллигент, чем как оперный мужик. И масса может заново кристаллизироваться в народ только вокруг новой интеллигенции, создавшей в себе самой новый духовный стержень. Мне кажется, это подтверждает пример Чехии. Достаточно сравнить, чем она была в 1952, в 1956 и чем она стала в 1968 году.

С этой точки зрения, я охотно принимаю двусмысленность (и даже тресмысленность) слова «интеллигенция», обозначающего то более широкий слой, то более узкий. Какая-то часть работников умственного труда — первый пласт, способный кристаллизоваться вокруг хрупкой веточки «интеллигентной интеллигенции», вокруг тех нескольких десятков или сот людей, которые в самих себе нашли «почву», опору и перестали дрейфовать вместе «со всеми». Ничего другого моя ставка на интеллигенцию не означает. Нынешняя интеллигенция — ничто. Но она может стать всем, охватить своим влиянием всё.

Отдельные настоящие люди складываются всюду. Их на каждом шагу можно встретить и среди рабочих, и среди крестьян. Но другого такого прогрессивного *слоя*, как интеллигенция, по-моему, нет. И я обращаюсь к ней не как к носителю сложившихся новых ценностей, а как к топливу, которое легче зажечь. Как к дровам, которые должны хорошенько разгореться, прежде чем начнет пылать каменный уголь.

Пока что в этих дровах слишком много сырых и гнилых поленьев. Пока что интеллигенция глубоко поражена комплексом неполноценности. Духовная незащищенность, отказ от привычных ориентиров во времени и в вечности, опора только на самого себя, на свою собственную глубину — от этого хочется бежать, как от чумы, от холеры, от сифилиса; вселиться в семипудовую купчиху и поверить во все, во что она верит. Хорошая половина интеллигенции готова ухватиться за что угодно. Лишь бы был твердый человек, твердый принцип, твердая традиция. Гомункулизм, сталинизм и прочее — всё это частные случаи, отдельные нарывы, а болезнь крови — в неспособности обрести Царство Божие, которое *внутри нас*.

Человек, потерявший ориентацию в линияющем мире, только очень редко схватывается за то, что само по себе вечно. Чаще он

привязывается к руководству людей, знающих тайну, к церкви или еще какой-либо школе благоговения и ищет прикосновения к вечности в обточенных веками обрядах. Еще чаще привязываются к примитивам, не порвавшим еще с целостностью жизни, — к народам, племенам, животным.

Всё это отчасти хорошо. Можно многому научиться у простых, не испорченных высшим образованием людей, у животных, у деревьев, у облаков. У моря — его широте. У деревьев — их осанке, их стремлению к свету. У птиц — их инстинктивной способности отвечать солнцу. У животных — безыскусственности крика и движения. У архаических племен и народностей — внеличной соборной мудрости...

Двигаясь по лестнице образованности, мы не только приобретаем (сложность, утонченность), но и теряем (простоту, цельность). Нельзя двигаться вперед непрерывно, потому что наше «вперед» условно, горизонтально, в нем нет верха, в нем забывается движение вверх — к абсолютной простоте. И если мы каждый день и ночь не возвращаемся к своему истоку, к абсолютно простому, если мы забываем о нем, то время от времени прогресс сменяется романтической реакцией, и вкус к классически развитому, расчлененному сменяется вкусом к нерасчлененному, простому, примитивному. Это так же естественно, как движение маятника, и только М. А. Лифшиц способен объявить маятнику войну.

Но... тут есть некоторые «но». Страсть к примитивному имеет и свои патологические формы. Наиболее свободна от них любовь к природе, к животным. Друзья говорили мне, иногда в шутку, иногда всерьез, что собаки или кошки гораздо лучше людей. Но никто из знакомых мне кошатников или кошатниц не орал в марте, как кот, и никто из знакомых собачников не вырывал у соседей кость изо рта. Есть какой-то незримый порог, мешающий человеку встать на четвереньки. Как-то само собой получается, что у деревьев, у собак и кошек учатся тому, что обогащает нашу человечность, а не портит ее. Любовь к народу в этом смысле гораздо опаснее. Никакого порога, мешающего встать на четвереньки, здесь нет.

Тут опять-таки есть «но»: есть примитивизм, расширяющий сердце, и примитивизм, сужающий сердце (как, помнится, Гейне говорил о патриотизме, французском и немецком). Вкус к примитивам не опасен, если вы любите всякие, а не только свои примитивы; тогда в самой своей любви к ним вы остаетесь на современном человеческом уровне, вы не проникаетесь чисто прими-

тивной нелюбовью к чужим примитивным (и не примитивным) культурам. К сожалению, самая естественная из страстей — страсть к своему народу — легко становится злокачественной. К ней легко примешивается политический расчет, надежда опереться на толпу (которой вы льстите), чтобы кого-то вытеснить с теплого места. И тогда эта любовь к своему народу, к своей нации, к простым людям без всех этих интеллигентских штучек вызывает у меня тошноту.

Миф о народе был основательно разрушен в «Белой гвардии» М. Булгакова, в столкновении народа без интеллигенции с интеллигенцией без народа. В этой ситуации интеллигенция осталась симпатичной (Турбины), а о народе сказано: «Гетман мерзавец и Петлюра мерзавец, но Петлюра еще вдобавок погромщик». В «Собачьем сердце»*), если перевести гротеск на язык социологии, вносится разъяснение: народ хорош, пока он неподвижен, не втянут в историю, остается патриархальным Шариком. Взбаламученный, взбунтовавшийся народ теряет свою душу, становится массой, глиной в руках бесов. «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»**). Рассчитывать на него в борьбе за свободу, прогресс и прочие цели интеллигенции — все равно, что скакать на тигре. Без необходимости лучше не пробовать.

И всё же миф о народе пытаются возродить, вероятно, по той же причине, по которой югославские партизаны ободряли себя частушкой:

Не боимся ваших авионов:
Нас и русских 200 миллионов!

Чувство единства с миллионами ободряет, как сто грамм перед атакой. Но что потом? Потом интеллигенты, облачившиеся в пролетариат, в народ и прочие сермяги, истребляли интеллигентность в себе и вокруг себя во имя своего фетиша.

Интеллигенция не может пройти мимо политических событий, затрагивающих ее нравственное чувство. Но погрузившись в политику с головой, она теряет себя, становится политической контрэлитой, бюрократией наизнанку.

Происходит это очень просто. Ситуация, рождающая трусов, рождает также героев. Герои, вступившие в спор с деспотизмом, приходят к убеждению, что им-то в их святой борьбе всё позволено. Поэтому борцы за право сами себя привыкают считать выше

*) См. «Г р а н и» № 69. — Р е д.

**) А. Пушкин. «Капитанская дочка». — Г. П.

права, выше обывательской нравственности. И, придя к власти, они легко берут в руки топор палача и продолжают традиции, против которых восстали.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...

М. Волошин

Так мы сами своей пассивностью, своей трусостью воспитываем сегодняшнего героя, завтрашнего диктатора и палача.

Выход в том, чтобы сдвинуться хоть на шаг ближе к свободе, но всем вместе. Ну, хотя бы начать говорить правду на собраниях. Ну, хотя бы в том случае, если вас прямо спросят, что вы думаете. Ну, хотя бы молчать, если не хватает сил высказать свое мнение, но по крайней мере не лгать.

Если бы мы могли уйти на Авентинскую гору, как плебеи древнего Рима. Если бы у нас хватило характера — отдать все свои лавровые венки, свои степени и звания и быть самими собой. Не подвывать. На это ведь надо так мало характера. Капельку. Чутьочку. Немножко способности обходиться честным куском хлеба без икры.

К сожалению, рядовой интеллигент ниже этого. И пока это так, бессмысленно ждать лучшего будущего. Если мы не станем людьми, то кто же ими будет?

Противопоставление неверующей и лишенной традиций интеллигенции народу — русский провинциализм. Народ сохранил, как умел, традиции века Марии и через все века, в которые мы почитали одну Марфу, передал их нам. Это так. Но этого больше нет. Народ больше ничего не хранит. Он и сам себя не сумел сохранить. На реках вавилонских сидим мы и плачем, вспоминая о народе...

Вавилон — не просто большой город. Это город, где смешались языки, где исчезают народы, исчезают всячески — и как примитивы, и как нации, и как верования отцов.

Мы живем в век вселенской диаспоры*). Правда, в этот же

*) Диаспора, буквально — рассеяние. Часть народа, живущая в эмиграции. Диаспора особенно чувствуется в мировых центрах. Напротив, малые страны чаще сохраняют патриархальный облик. — Г. П.

век еврейская диаспора восстановила свое ядро, опрокинув несколько теорий, по которым так не должно было быть. Но в результате диаспора не исчезла. Еврейская нация просто сравнялась с другими нациями диаспоры: армянской, ливанской, татарской, ирландской... Диаспора давно перестала быть чисто еврейской, исключительной чертой, она стала чертой всеобщей. В наш век чуть ли не каждая нация пустила облачко рассеяния. Есть диаспора китайская, в Юго-Восточной Азии; диаспора индийская в Азии и Африке; даже дагомейская — в Западной Африке; и уже были дагомейские погромы.

Давно пора создать новый термин — «антидиаспоризм». Психология китайского погрома в Индонезии, индийского в ЮАР и т. д. мало чем отличается от психологии кишиневского погрома. Замкнутые, слабо диаспоризированные крестьянские народы могут сочувственно относиться друг к другу, но народы закоренелой диаспоры они считают особыми, плохими народами, в целом плохими, хотя возможны отдельные исключения. Иван Денисович уважает эстонцев, но с оттенком неприязни думает о Цезаре Марковиче: не то еврей, не то цыган. Костоглотов хорошо относится к бывшим врагам, немцам и японцам, но, встретив неплохого коменданта, высказывает свои впечатления по формуле: хороший человек, хотя и армянин. (Братские чувства «замкнутого» человека к другим народам всегда несколько напоминают ответ армянского радио о пролетарском интернационализме: «Это когда русские и евреи, армяне и татары вместе идут бить грузин». Грузинское радио соответственно меняет порядок имен.)

Как и все предрассудки, и этот предрассудок имеет под собой известные основания. Нации старой, закоренелой диаспоры меньше тяготеют к золотой середине, чем крестьянские нации, — разброс добра и зла в них шире. Надо самому быть широким, как Марина Цветаева, чтобы вместить это:

...Вы кровью заплатили нам! Герои!
Предатели! Пророки! Торгаши!

Человек диаспоры либо изворачивается, как угорь, чтобы захватить чужое пространство, либо живет одним духом. Первых, естественно, больше, чем вторых. Иваны Денисовичи добросовестно ошибаются, принимая распространенное зло за норму, а добро — как отклонение от нормы. Так же думает Русанов; и как частное лицо, и как заведующий отделом кадров. Здесь он вполне искренен и вполне народен... Только интеллигенция, за некоторыми

исключениями (из которых самое талантливое — Достоевский), имела мужество идти против народа, вместе с Мариной Цветаевой, с Н. Бердяевым («Христианство и антисемитизм») или с Н. Бухариным. При всем несходстве этих трех лиц, они были интеллигентными, т. е. в каком-то смысле сами принадлежали к диаспоре, не испытывали к ней отвращения.

Диаспора — очень широкое явление. Есть диаспора политическая (испанская, польская, русская), диаспора туристическая (влечение к чужому, дальнему) и особая интеллигентская — духовная диаспора. Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Все, открытыми глазами читающие английские книги, смотрящие японские фильмы. В старину, по Кормчей книге, за это полагалось проклятие.

Мы живем не в одном, а сразу в нескольких духовных мирах. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои. В нашем сознании европейская, суфийская, индийская, китайская мудрость лезут друг на друга, как торосы в Арктике. И один призыв к вере, к традиции, к народу анафематствует другой. Народы не знают дороги из этого хаоса. Они и в старину не знали дороги — их выводили пророки. Откуда же взяться пророкам сейчас? Разве что из нашей собственной духовной нищеты?

Интеллигентность — это, может быть, равновесие духовного богатства и духовной нищеты. (Первое без второго — книжник и фарисей, по-новому: интеллектуал, сноб; второе без первого — юродивый...)

Интеллигенция не может не сознавать свою незавершенность, свое место на полдороге. Сознать или хоть смутно чувствовать. Если открытости нет, если есть закрытость, замкнутость на какой-то идее, догме — интеллигентность начинает исчезать, выветриваться. В конце концов все реки идейности текут в болото мещанства: одни — прямо и просто, другие — после порогов, водопадов, подвижничества и донкихотства. Идея, перестав быть рабочей гипотезой, становится кумиром, идолом. И человек приносится в жертву этому идолу.

Безродность, вырванность из племенной, народной традиции — непрменная черта интеллигентов. Интеллигенция как особый слой, в котором собственно интеллигентно маленькое ядро, образуется именно в обществе, утратившем народные ценности. В России — после Петра, в странах Азии — на наших глазах.

Вися в воздухе, часть интеллигенции ищет опоры в каких-то символах народности (романтики, славянофилы, негритюд). Но что

стоит за этими символами после сталинской коллективизации, оставившей от народа только рожки да ножки? Что можно поставить за этими символами в Америке?

Есть счастливые исключения среди малых стран. Там процесс урбанизации шел иначе. Там сохранилась сплоченность, связывающая вместе все слои. Там нация — единый организм; там интеллигенты больше просвещали массы, чем возбуждали в них воинственность. Там символы национального единства не так легко становятся символами травли других, послабее. Там всё иначе. Там народ — реальность, и бывают чудеса, когда весь народ действует, как один человек, против всемогущих тоталитарных машин.

К сожалению, в большинстве случаев народничество подыгрывает агрессивному национализму. Пример Германии достаточно свеж. Пример арабов перед глазами. Нужно ли нам дать человечеству еще один урок?

Уже сегодня русская почвенная идея, не успев завоевать признания, вульгаризировалась, опошлилась. Пряничный национализм дает Солоухину и Глазунову, Кожанову и Палиевскому удобную позицию, с которой можно уклониться от нравственного выбора, сохраняя обманчивую осанку порядочного человека, и делать независимые жесты без риска неприятностей. Ибо кому следует, ясно, что это всего лишь неофициальная разведка очередного официального погрома.

Однако нация, стоящая в центре большой системы, не может удерживать этого места с помощью кокошников и сарафанов. Тут нужна идея, способная вызвать отклик во всяком сердце. Напротив, забота о кокошниках и сарафанах в центре вызывает аналогичные заботы на местах, и центробежные силы могут оказаться побольше центростремительных. Избрав удел духовной провинции, Россия становится на путь, ведущий и к политическому захолустью. Это тот путь, который прошла Испания в XVII-XVIII веках, и он широко открыт перед нами.

У сверхдержав прогрессивной национальной задачи нет. Идея их может быть только вселенской, космополитической. Интеллигенция здесь не имеет права на патриотизм. Она может опираться только на международную солидарность ученых, писателей, всех людей доброй воли (американцев, японцев, русских) через головы националистического мещанства.

Наше время часть людей превратило в людей как все, со своими почтовыми марками; но зато миллионы интеллигентов ста-

ли чем-то вроде неизраильских евреев, «людьми воздуха», потерявшими все корни в обыденном бытии.

Запутанность, заброшенность, тревога, страх, забота — весь этот быт человека гетто стал называться экзистенциализмом и переведен на все языки вместе с Францем Кафкой (Макс Брод считал его писателем специфически еврейским, но никто с ним не согласен). Теперь мы все равны в праве на страх, теперь каждый мыслящий человек сознает возможность термоядерного погрома, и остается только всем вместе выпутываться из этой общей для всех погромной ситуации.

К несчастью, сверхдержавам, которым Бог дал силы вязать и решать, он не дал разума. Интеллигенция здесь бессильна. Политика здесь в плену у машины всемирного господства, у идеи престижа. Единственная заслуга сверхдержав — то, что они уравнивают друг друга. Самое лучшее, что они могут сделать на мировой арене, — это ничего не делать. Их активность становится отвратительной, их попытки спасти человечество толкают его к гибели. Только некоторые малые страны сохранили возможность коллективной доброй воли, сдвига к чему-то лучшему, к выходу из всемирно-исторического тупика, в который мы зашли. Надо по крайней мере не мешать им...

В этих условиях интеллигенция сверхдержав может консолидироваться только как меньшинство, наподобие индийцев в Южной Африке*). Судьба интеллигенции глубоко схожа с судьбой действительных национальных меньшинств, и выход, который я вижу, — в блоке интеллигенции больших стран с народами малых.

В сём христианнейшем из миров
Поэты — жидаы!

М. Цветаева

Интеллигент может пытаться ассимилироваться в массе, но масса никогда не признает его за своего и при первой возможности вытолкнет — так, как были вытолкнуты организаторы РСДРП. Только сплотившись «вокруг самой себя», интеллигенция может чего-то добиться — и для себя самой, и для всех. В конечном счете, интеллигенция должна выйти за свои рамки, захватить, просветить массы. Но прежде чем посолить, надо стать солью. Прежде

*) Ганди начал свою борьбу в Африке и потом уже перенес методы ненасильственного сопротивления в Индию. — Г. П.

чем просвещать, надо стать светом, перестать быть человеком массы, перестать быть частицей тьмы.

Может ли меньшинство чего-то добиться? Не есть ли тактика заведомого меньшинства — тактика отчаяния? Не есть ли это крик одиночки, бессильного что-либо изменить?

...Отказываюсь жить
В бедламе нелюдей.
Отказываюсь выть
С волками площадей!

М. Цветаева

Я думаю, что все великое началось с меньшинства, и даже более того — с одиночки, отказавшегося выть.

На этого одиночку я и надеюсь. Я нахожу какие-то огоньки надежды то там, то сям. Мне кажется, что путешествие всемирной литературы на край ночи подходит к концу. На запретной полосе, перепаханной модерном, едва-едва поднялось несколько ростков жизни: «Маленький принц» Сент-Экзюпери, некоторые герои Сэлинджера. Принц попробовал жить на старой земле и не сумел. Но через несколько лет появились братья и сестры Гласс*). Первый, Сеймур, не выдержал, а остальные живут. Живут без всяких народных корней. Даже без надежд схватиться за народ как источник мудрости. Если они чувствуют потребность в примере, то прямо обращаются к Христу. И если Сэлинджер думает о своем читателе, то вместо туманного обращения к народу просто говорит: *н а д о* писать так, чтобы тебя прочитало как можно больше старых библиотекарей. И рядом с новыми, замодернистскими сэлинджеровскими мальчиками действительно оказываются лучшие старые люди, домодернистские, простые люди, — те, которые не приняли причастия буйвола, остались верными Агнцу. Сэлинджер и Бёлль стоят в сегодняшнем мире где-то рядом.

Вторая новая черта: чувство открытости, прозрачности к другим культурам. Это опять-таки очень бросается в глаза у Сэлинджера. Для его героев Индия и Китай — такие же близкие родственники, как для русского — Украина. Христианство Сэлинджера действительно кафоличное, вселенское. Оно немислимо без прозрачности для всех других вселенских религий, выросших на дру-

*) Из рассказов и повестей Дж. Д. Сэлинджера. См. «Фрэнни и Зуи», «Выше стропила, плотники» и другие. — Г. П.

гой почве. Оно отыскивает себя заново в Упанишадах, в дзэнских парадоксах, отталкивается от них и возвращается к себе, так же, как Мандельштам (и без того человек двойной национальности) тянется еще к немецкой и итальянской речи и находит в них новое богатство своей родной; как Рильке в конце своей жизни вдруг почувствовал исчерпанность немецкой речи и перешел на французский язык и наполовину по-русски писал свою предсмертную записку.

Мне чудится в этих попытках что-то пророческое. Это, может быть, первые люди новых проникающих друг в друга незамкнутых общностей, общностей из башни Майтреи (в которой каждая душа отражалась во всех других, и невозможно было непонимание).

Христос проповедовал рыбакам и блудницам. Но Он никогда не проповедовал массам. Массы тогда, как и сейчас, предпочитали Варавву.

Он проповедовал людям, когда они не были массой, а от массы бежал «страха ради иудейска». Проповедовал избранным группам избранного народа, чтобы они стали ядром нового Адама и потом, когда-нибудь это ядро обросло плотью. Не в массовом, а в интимном общении, длящемся веками.

Потом, когда новый культ, выросший из проповеди апостолов, покорил заброшенных римских горожан, когда Константин навязал новую веру поганым («деревенщине»^{*)}, народы не в силах были вместить ее и перекроили на свой лад, даже не ветхозаветный, а дозаветный лад. Народ никогда не был новозаветным. Когда явится новозаветный народ, наступит тысячелетнее царство праведных. Пока это немислимо. Народы не в силах вместить ни космополитизм Нового Завета, ни его духовной глубины.

Не поняв Царствия Божия, которое внутри нас, и перестав верить в Царствие Божие на небе, народы развитых стран за последние века если и верили во что-то, то разве только в лучшее будущее. Но в наш век и эта вера поколебалась. Сама идея лучшего будущего, помимо вероятности ее осуществления, встретила возражения и нападки. Будущее будет, нет ли, — говорят современные Иваны Карамазовы, — а настоящее слишком часто приносится ему в жертву. И стоит ли эта гармония сегодняшних, настоящих слез?

^{*)} P a g a n u s — первоначально деревенщина, потом языческий (отсюда пропаганда). — Г. П.

Падая с неба, или с сияющих вершин, люди схватились за народность и — попали в плен к ней. Будет ли, нет ли Царствие Небесное, или светлое будущее, но мысль о нем давала точку, с которой можно было взглянуть на свой народ, как с горы, и сказать: есть две нации в каждой нации. Есть Герцен — и есть Пуришкевич*)... А с позиции народности все кошки серы.

У старых славянофилов была мерка, которой можно было мерить Россию, был Бог. У новых почвенников ничего нет, кроме любви к своим собственным детям больше, чем к чужим. Что же делать, если свое — скверное?

Бороться с отечественными пороками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота. Это задача для барона Мюнхгаузена и В. Солоухина. Или самоутешение для мещанина, который, в сущности, своими пороками совершенно доволен и никуда из своей миргородской лужи не хочет.

Миф о подлинном национальном характере, который надо только освободить от наносных черт, очень удобен для рассуждений, но при ближайшем подходе к предмету рассыпается. То, что наносилось семьсот лет, давно стало своим. Освобождаться надо от своей собственной, а не от чужой мерзости. Второе вообще слишком легкое дело.

Единого национального характера нет, есть сложная структура, которую можно членить на несколько пар типов, черт. Есть русские черты, идущие от богатырских эпох или сторон русской истории — широта, удаль, беззаботность (я включаю сюда и беззаботность, хотя от нее было и будет много несчастий: в ней есть что-то для меня глубоко привлекательное). И есть русское холуйство, русское хамство. Есть черты, складывавшиеся в церкви (женская кротость и всепрощение), и черты, складывавшиеся на конюшне. Как все это соберется вместе?

У Достоевского в «Дневнике писателя» пересказывается газетная заметка о мужике, привыкшем засовывать голову своей безответной жены под половицу и сечь ее вожжами. Ни за что, так просто, чтобы себя показать, чтобы доказать, что он — власть (со смутным сознанием, что без власти он — ничто). Пока она не повесилась. С одной стороны — мужик Марей, а с другой — мужик-палач, мужик-погромщик. «Широк, слишком широк русский человек. Надо бы сузить» (Достоевский).

*) См. В. И. Ленин. О национальной гордости великороссов. — Г. П.

Один из лидеров сионизма, Жаботинский, в начале XX века произнес знаменитые слова: «Каждый народ вправе иметь своих мерзавцев». Как будто так оно и есть. Как будто бы верно: ни один народ от этого права никогда не отказывался. Но в старину пользовались своим правом как-то втихую, не провозглашая его как девиз, как принцип. Только потеряв веру в Бога и прогресс, можно было прийти до идеи п р а в а на мерзость. Это и есть идея национализма XX века.

Меня охватывает недоумение: а есть ли оно, это право? Может быть, это только привычка и пора ее несколько поурезать*)? Особенно в наш атомный век, при чрезвычайном росте средств истребления, делать всенародные, всемирные мерзости? И если народа без прав на своих мерзавцев невозможно представить, то тогда — тем хуже для народов? И народ, обладающий атомной бомбой, это немыслимое сочетание терминов? И если нельзя отказать от открытий, сделанных физикой XX века, то надо вылезать из старой народной шкуры?

И еще некоторые особые, местные вопросы приходят мне на ум. Англичане пишут курсивом слово «*интеллигенция*». Оно пришло для них из России, из русской культуры. И каждый раз, когда я встречаю эту «интеллигенсия», я испытываю какое-то чувство наивной радости. Но есть еще одно литературное заимствование, тоже очень давнее: «погром». Последнее время оно довольно часто мелькает: «погром в Нигерии», «дагомейский погром в Конго»... И каждый раз меня охватывает дрожь стыда. А вам не стыдно, судари и сударыни? Вы думаете, что Россия может «взлететь белой лебедью», не возненавидев собственной скверны?

Невольно вспоминаю славянофила Хомякова:

В судах полна неправды черной,
И игом рабства клеймлена,
Постыдной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.

Это старые стихи. И вы можете забыть их. Без них лучше спится. Только до тех пор, пока вы так думаете, пока вам снится, что вы летите, помахивая белыми крыльями, Россия по-прежнему

*) Обошлись же чехи в августе 1968 г. почти совсем без мерзавцев. Может быть, это и есть норма? — Г. П.

будет ворочаться в канаве. Чтобы в самом деле подняться, надо возненавидеть собственную скверну. И полюбить что-нибудь получше: Бога, Идею... Тогда народ действительно взлетает, и следами его остаются такие слова, как «осанна», «аминь», «София», — или в атеистические времена: «интеллигенция», «прогресс», — а не «погром» и «... твою мать».

Из двух великих народов древности, заложивших основы нашей культуры, один осудил Сократа (за безнравственность), другой распял Христа... Как это получилось? Может быть, потому, что оборотная сторона народа, каждого народа — масса? И глас народа — глас Божий, а голос массы — голос осла?.. Какой пророк был доволен своим народом? Какой пророк не бичевал его? Не говорит ли довольство своим народом о глубоком духовном упадке, об утрате самого томления по духовной глубине? И если не будет этого томления, этого импульса, вытолкнувшего когда-то из древних евреев, от пророка к пророку — «учителя справедливости» кумранских отшельников, Иоанна Предтечу, Христа — что вам останется, кроме как сталкиваться лбами с другими народами, пока все, как бараны Панурга, не свалятся и не разобьются?

Подумайте над тем, что вы прочли. И прежде чем осуждать меня, поймите. То, что у нас обычно называют народом, — совсем не народ, а мещанство. Это мещанство хочет, чтобы его принимали за народ, оно хочет называть себя народом, подчинить себе интеллигенцию, заставить ее относиться к себе, как к норме и образцу. Действительные поиски народности (африканской, океанической, примитивной) это мещанство не понимает и гонит. Действительную духовную традицию народов, в лучших ее порывах, это мещанство не понимает, не знает. Наследники этой традиции — мы, мы сами, и нам самим надо искать дорогу, не оглядываясь на большинство. Когда Орфей оглянулся, он второй раз потерял Эвридику... Потому даже с величайшей, глубочайшей точки зрения, на которую иногда становятся народники, нельзя проклинать бич Божий, истребляющий народы. Народы должны преобразиться. Ветхий Адам должен умереть, чтобы родился новый.

Пицунда.

Сентябрь 1967 — октябрь 1968.

Библиография

АПОЛОГЕТ ЕРЕСИ

Книга Алекса Шейна (Алексея Алексеевича Имшенецкого) — переработка его докторской диссертации — выпущена пока по-английски. Она поражает и восхищает добросовестностью, с которой молодой литературовед разработал свой замысел, полнотой и исключительной широтой охвата. Книгу сопровождают исчерпывающие библиографические указатели: перечень всех литературных трудов Евгения Ивановича Замятина в хронологическом порядке и другой перечень — всего, что о Замятине написано в России и за рубежом.

Многие материалы и справки получены А. Шейном от Людмилы Николаевны Замятиной (ныне покойной), а также от Архива по русской и восточноевропейской истории при Колумбийском университете в Нью-Йорке, возглавляемого профессорами Филиппом Э. Мозли и Львом Флориановичем Магеровским, неутомимыми собирателями и хранителями бесчисленных документов, относящихся к русской культуре и истории.

Образ Е. И. Замятина, возникающий при чтении книги А. Шейна, сложен, как сложна и его политическая судьба. Последние годы своей жизни Замятин провел в Париже, где и умер 10 марта 1937 года, но назвать его эмигрантом нельзя, как нельзя, впрочем, и безоговорочно причислить его к советским писателям.

С самого начала писатель выступил критиком советской действительности, хотя, будучи в юности эсером, он стал впоследствии даже членом коммунистической партии. В советской России он оставался до 1932 г. и все эти годы был исключительно активен в литературной жизни бывшего Петербурга (как писатель, лектор, редактор-издатель и драматург). Тем не менее по-настоящему советским писателем он никогда не был, ибо понятие «советский писатель» — не географическое, а, прежде всего, политическое.

Та же история повторилась и в Париже. Замятин дружил с Ремизовым, Марком Слонимом, Юрием Анненковым, Борисом Григорьевым, но в литературной жизни эмиграции не участвовал, до конца оставался гражданином СССР и даже был заочно избран членом Союза советских писателей в 1934 году.

Даже в эпоху нэпа, когда книгоиздательство в России вернулось к почти дореволюционному уровню, коммунистические критики клеймили

Замятина как писателя антисоветского, буржуазного, аполитичного, индивидуалиста, декадента, противника Октябрьского переворота. Особенно резкими стали эти высказывания в 1929 году, во время чистки в рядах Всесоюзного союза писателей, а после отъезда Замятина за границу (с личного разрешения Сталина) ни одно произведение Замятина в России не было напечатано, и его имя вовсе исчезло со страниц советских работ по литературоведению. На короткое время оно вернулось в печать только в 1946 году, во время преследования коммунистической властью Ахматовой и Зощенко, сатирические и «аполитичные» произведения которого были (довольно основательно) поставлены в связь с сатирой и «аполитизмом» Замятина.

Только с конца пятидесятих годов имя Замятина стало упоминаться вскользь в советских руководствах по истории словесности, но почти всегда с характеристиками отрицательного порядка: ему неизменно приписывались «буржуазные нападки» на молодую советскую литературу и «советскую действительность». И до сего дня Замятин считается в СССР, вместе с Андреем Белым и Ремизовым, «упадочным» писателем, почему-то «оказавшим определенное влияние на молодых писателей».

В упрек Замятину ставятся «лингвистический натурализм», «формалистическая утонченность», «враждебность к революции и глубокий пессимизм», а его роман «Мы» именуется «злостным пасквилем на советскую власть». Советскому критику Замятин представляется и сегодня незначительным «внутренним эмигрантом», покинувшим «советскую родину» с большим опозданием. Точка. А для критика западного Замятин — талантливейший, своеобразный писатель, автор пророческого романа, в котором жало сатиры направлено на утопию будущего «всеобщего счастья и благополучия».

В центр проблемы выдвигается, таким образом, роман «Мы». Верно, что этот роман «не соответствует» официальной идеологии и даже враждебен «родной партии», которой сам факт включения этой сатиры в число значительных литературных произведений представляется «антисоветской пропагандой реакционеров и империалистов». Сатира на утопию всеобщего счастья, подтачивающая и подчас вконец разрушающая эту самую веру, «полная неисцелимого исторического пессимизма, звериной ненависти к народу и демократии», — да ведь это красный платок, которым тореадор приводит в бешенство коммунистического быка, даром что бык и сам «красный»!

Совершенно естественно в этой связи, что в СССР не могут быть напечатаны ни «Мы» Замятина, ни «1984» Джорджа Орвелла, ни роман Олдоса Хаксли о «новом мире». Зато на Западе интерес именно к этим сатирам неуклонно растет, причем о романе «Мы» пишется столько, что отодвигаются куда-то в тень все остальные произведения Замятина и писателю угро-

жает постепенное вырождение в «автора единственной книги» (как произошло, например, с Сервантесом или Грибоедовым).

Объективно говорить о Замятине как писателе партийный критик не может и не сможет никогда, ибо неприемлемым Замятин останется не только для коммунистической, но и для любой другой диктатуры, и — шире — для какого угодно «общепринятого», устоявшегося, ставшего неоспоримым мировоззрения.

Много прекрасных страниц в книге А. Шейна посвящено анализу творческих приемов Замятина, той алгебре, которою поверяется и достигается гармония, а также эволюции стиля, языка и жанра произведений писателя, уяснению взаимосвязи между персонажами Замятина, а также переключке его с другими мастерами прозы. В каждый период на виднейшее место выдвигались новые проблемы, и соответственно им видоизменялась и писательская техника.

Дать хотя бы краткий обзор эволюции образов, символов и типов Замятина невозможно, да и совершенно не нужно. Но есть у него два ряда символов, которые превосходят по глубине и охвату все остальные, и без уяснения которых понимание творческого мира Замятина немислимо — тем более, что эти два ряда внутренне связаны.

Один ряд символов относится к идее перманентной революции. Замятин всей душой с теми, кто бунтует против всякого установившегося порядка, всякого консерватизма, всякого застоя. Ему мила кипящая магма, из которой неизвестно что еще получится. Но вот на магме начинает образовываться кора, и Замятин начинает испытывать тревогу. Кора утолщается, становится толстой и крепкой, и Замятин уже бунтует. Он готов разрушить любую форму во имя будущего — будь то общество, государство, Церковь, философская система или научная истина, переставшая быть гипотезой.

Везде, в каждой области Замятин готов быть Коперником, Галилеем, Колумбом, Ньютоном или Эйнштейном, готов быть революционером и проповедовать разрушение существующего — во имя просто обновления, а не какого бы то ни было заранее поставленного идеала.

Как только недавняя ересь, вчерашнее новаторство победило и стало *сегодняшней правдой*, укладом, порядком, строем и ладом, системой и догмой, Замятин обращается против своего недавнего кумира и бичует его поклонников как элемент косный, неподвижный, застывший, враждебный движению вперед, в будущее.

Еретик — излюбленный замятинский символ. Связан с ним и символ скифа — дикого, шалого, опьяненного скаканьем по степи пространства и времени, бросающего копье во всякого, кто попадает к нему навстречу или кого он сумеет обогнать, штурмующего города с их великолепной цивилизацией и цветущей культурой, всё предающего огню и мечу, безостановочно

несущегося вперед и вперед, в будущее, к которому нельзя приладить никакого прилагательного, ибо это не «светлое» и не «счастливое» будущее, а будущее просто, за которым наступит другое — второе — будущее, которое так же беспощадно разрушит будущее-первое только за то, что оно уже успело застыть, принять отчетливые формы, окостенеть — словом, стать очередным *сегодня*.

В наши дни весьма неожиданно созвучным изложенным идеям Замятина оказывается провозглашаемый в «красном» Китае лозунг «перманентной революции» со всеми вытекающими из него выводами и, в первую очередь, безоговорочным осуждением «советского ревизионизма», то-есть выветривания революции и превращения ее в свою противоположность — консервативный идеал «поддержания существующего порядка». Верно заметил какой-то циник, что «лучшие пожарные выходят из поджигателей»; сегодняшней Мао Цзэ-дун как будто скорбит о том, что советская верхушка давно уже перестала походить на шайку поджигателей.

Несоответствие такого мировоззрения, как замятинское, любой догме очевидно, хотя любая догма готова будет признать за этим мировоззрением известную прогрессивность, удобную хотя бы в «попутчиках». С другой стороны, такое мировоззрение неприемлемо ни для одной «школы» именно своей иррациональностью. Будущее у Замятина — не движение по направлению сознательно задаваемых себе человечеством целей, а некий Хронос, пожирающий собственных детей, или некий Молох, в жертву которому приносятся чужие дети.

В прогресс Замятин очевидно и вполне последовательно не верит. Какой же может быть прогресс (движение от несовершенного к менее несовершенному), если будущее принадлежит еретiku или, лучше сказать, дикарю, скифу, одинаково чуждому как благоговению перед культурой и цивилизацией с их «ценностями», так и всегда нетворческому, холодноватому и себялюбивому скептицизму? Кажется, Достоевский писал в «Записках из подполья», что и осуществившаяся утопия всеобщего благополучия не гарантирует, что в какой-то день не появится некий джентельмен с неблагоприятной физиономией, которому захочется одним махом столкнуть ногой всё благоразумие. Именно таким «джентельменом» был бы Евгений Замятин..

Протест против косности данной и потенциальной — именно то, что отчасти мирит и сближает мировоззрение Замятина с прогрессивными учениями Запада, признающими относительность ценностей. Но этот же самый протест неминуемо сталкивается лбом с единственной на земле догмой, раз навсегда объявившей себя непогрешимой и неизменяемой, то-есть с марксизмом. Многим вдумчивым наблюдателям как в свободном мире, так и в России давно очевидна нелепость такого притязания на обладание последней и окончательной истиной. Революция, означавшая, прежде всего, ломку

сложившегося в России к XX веку политического и общественного строя, очень скоро стала силой консервативной, озабоченной только защитой своих завоеваний. До этого момента Замятину было с нею по пути, но дальше революция занялась консолидацией настоящего, а Замятин остался предтечей неясного и по сей день «будущего».

Построенный коммунизм — утопия. Творимая легенда — тоже утопия. Обе высмеяны в замечательной сатире Замятина «Мы». В несколько ином аспекте та же тема поставлена в «Островитянах» («Завет принудительного спасения» — с такой организацией общества, что от счастливого гражданина требуется только одно: безусловное повиновение правилам распорядка, установленным для него заботливой, дальновидной властью). Мир этой утопии — не четырехмерный и даже не трехмерный, а скорее выродившийся в двухмерное полубытие бессмертного мифа Платона о пещере и тенях.

В этом смысле Замятин, безусловно, враг советской действительности, лишенный не только энтузиазма, но и простого патриотизма, отбившийся от стада и беззастенчиво хохочущий в глаза чванной пошлости — заведенному порядку, установленной морали, общепринятой вере, спасительному чувству безопасности в мире распланированном и организованном.

Валерий Перелешин

«ЦЕРКОВЬ И РОССИЯ»

Сборник карманного формата. Содержание — три текции В. О. Ключевского, не включенные в восьмитомное собрание его работ, вышедшее в 1959 году в Москве.

Речь В. О. Ключевского на собрании Московской духовной академии в 1892 году — «*Значение преподобного Сергия для русского народа и государства*» — уже была издана за рубежом Свято-Троицким монастырем в Джорданвилле. Публичная лекция «*Добрые люди древней Руси*», которую В. О. Ключевский в том же 1892 году прочел в пользу пострадавших от неурожая, перепечатывается, по-видимому, впервые, так же, как и речь «*Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка*», которую автор произнес на публичном акте Московской духовной академии 1 октября 1888 года.

Эта последняя речь содержит особенно много нового для современного читателя, в значительной степени потерявшего живую связь с прошлым своего народа, а тем самым — и с его культурой.

По словам В. О. Ключевского, Церковь, «воспитывая верующего для грядущего града,... постепенно обновляет и перестраивает и град, zde пребывающий. ...Вот перед нами духовная одной древнерусской заветательницы, именной и богатой госпожи. Всё она припомнила и записала в заветании, кому сколько должна, кто ей должен и кому что должно остаться из ее имущества... Угасающим взглядом окинула она весь свой житейский багаж, припомнила и свои сундуки с платьем, и свою кухню и дошла до своей многолюдной крепостной дворни. Юридически это для нее такие же вещи. ...Читая духовную, ждешь, кому она откажет своих 'роб и холопов'. 'А людей моих, пишет заветательница, после моего живота всех отпустить на свободу, все Божи и царевы государевы люди, и из остаточных денег дать моим людем, мужичкам и женочкам, почему пригоже дати, а не оскорбити, чтобы людцы мои после меня не пошли с моего двора и не заплакали'».

О положении Церкви в древнем Русском государстве В. О. Ключевский пишет: «Церковь и тогда не вмешивалась в дела государства; но само государство вовлекало ее в свои дела, еще не умея справиться с многими из них. Церковная иерархия ... сверх участия в управлении и в суде ... помогала государству в устройстве благотворительности, в защите слабых и угнетаемых, в поддержании общественного благочиния и семейного благонравия».

Церковь принесла с собой на Русь не языческое римское право, а «римское» право Юстиниана, уже преобразованное в соответствии с учением христианства, в изложении и переработке византийских законоведов-христиан.

В О. Ключевский пишет: «Не ускользнула от русских законоведов и одна внутренняя особенность византийского законодательства ... — прием религиозно-нравственного назидания... Такая склонность мотивировать закон способна произвести впечатление и на современного человека... Тем сильнее должна была подействовать эта особенность византийского законодательства на русского человека XI-XII века, видевшего в законе не обдуманную необходимость, а не допускающую рассуждения угрозу ... Внося мотивированный закон в гражданское законодательство, Церковь этим проникла в глубь гражданского общежития, чтобы самые его отношения поставить на нравственном основании».

Автор останавливается на переменах, которые Церковь внесла в древнерусскую семью, с ее «водимыми» женами и добавочными «хотями», с «умычками» невест. «Христианская семья ... завязывается обоюдным согласием жениха и невесты и держится на юридическом равенстве и нравственном взаимодействии мужа и жены. Настойчивое проведение такого взгляда на семью в законодательство и в быт я назову великим делом русской иерархии», пишет В. О. Ключевский.

В дохристианском русском праве существовали ростовщичество и холопство. Церковь направила против них проповедь и исповедь. «Трудно найти древнерусское церковное поучение, пишет В. О. Ключевский, в котором не было бы резкого порицания ростовщика и рабовладельца... не достоин причастия ни тот, ни другой... Наперекор гражданскому закону, который предоставлял господину полную власть над холопом, позволял даже убить его, Церковь карала строгими духовными наказаниями за жестокое обращение с челядью и даже нарушала в ее пользу равенство нравственной ответственности за грех, уменьшая для рабов церковные наказания или даже прощая их духовные вины».

Как считает В. О. Ключевский, «отношение древнерусской Церкви к холопству — одна из наиболее светлых черт ее деятельности». На русской почве Церковь «разрушила самое юридическое основание, на котором (рабство — Г. Р.) было построено» в Византии, где рабство было однообразно, не допускало никаких степеней и различий. Созданное же на Руси рабовладельческое право «отличалось особенностью, какой, если не ошибаюсь, не было заметно в других рабовладельческих обществах Европы», пишет Ключевский. «Древнерусское холопство, первоначально также однообразное и безусловное, постепенно разложилось на многообразные виды ограниченной неволи, и каждый дальнейший вид был юридическим смягчением предыдущего. Главной виновницей этого разложения ... я признаю Церковь: холопская неволя таяла под действием церковной исповеди и духовного заветания. Рабовладелец добровольно, ради спасения души, смягчал свои права и даже поступался ими в пользу холопа; личные проявления чело-веколюбия входили в привычки и нравы, которые потом облекались в юридические нормы».

Свою речь В. О. Ключевский закончил обобщением, из древней истории переносящим нас в современность: «Право охраняет правду в обществе, в отношениях между людьми; Церковь насаждает ее в личной совести, воспитывая в людях чувство долга, превращая право в нравственную привычку. Ее цель — заменить принудительные требования права свободной потребностью в правде, и когда эта цель будет достигнута, тогда исчезнет и нужда в самом праве».

Приведенных выдержек достаточно, чтобы дать представление об исключительной ценности лекций Ключевского, не включенных в советское издание его сочинений. Достаточно и для того, чтобы определить ту высшую степень благодарности, которую заслуживает за выпуск этой книги парижское издательство ИМКА-пресс и финансировавшее это издание Свято-Серрафимовское братство в Нью-Йорке.

ПЯТНАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Три книги о раннем христианском искусстве, выпущенные мюнхенским издательством Хирмер, хотя и не задуманы как трилогия, но фактически составляют одно целое. Весь материал подобран и размещен так, что каждый из этих томов дополняет друг друга. Преобладают фотографии: 859 черно-белых и 201 цветных на 326 страниц текста. Как правило, они расположены хронологически, и многие объекты сфотографированы впервые. Ко всем ним приведена научная документация с планами катакомб и храмов, богатейшая библиография и, конечно, указатели, максимально облегчающие пользование книгами.

Первой по времени вышла книга «Раннехристианское искусство». В статье известного искусствоведа В. Ф. Фольбаха дан обзор и анализ христианского искусства со времени его зарождения по восьмой век. Это была одна из интереснейших эпох не только в истории искусства, но и человечества, когда молодое вино христианского миросозерцания рвало старые меха античной культуры Греции и Рима. Сначала робко, а затем всё более бурно расцвело новое, доселе невиданное по глубине и красоте художественное творчество торжествующего христианства. Победное его шествие прекрасно представлено в книге. Безукоризненно напечатанные фотографии большого формата раскрывают перед нами трогательную непосредственность фресок катакомбной церкви Рима, неповторимую прелесть мозаик Солуни, Равенны и первых римских базилик, величественную гармонию архитектурных ансамблей, богатство орнаментов и тонкость резьбы по слоновой кости и мрамору, изящество изделий из серебра и золота. В частности, воспроизведены три экспоната из Эрмитажа.

Осенью 1958 года в Эдинбурге и Лондоне были показаны привезенные из 73 музеев и храмов, в том числе из Москвы и Ленинграда, многочисленные произведения мастеров Византии. Выставка была исключительной по количеству и ценности экспонатов. Каталог ее, дополненный снимками

W. F. Vollbach und M. Hirmer. Frühchristliche Kunst. Die Kunst der Spätantike in West- und Ostrom. 96 Seiten Text mit 31 Grundrissen, 260 Tafeln, davon 34 in Farbe, mit insgesamt 301 Bildern. Hirmer Verlag, München, 1958. Leinen. DM 65,—.

David Talbot Rice und Max Hirmer. Kunst aus Byzanz. 92 Seiten Text mit 17 Grundrissen und Schnitten, 238 Tafeln, davon 42 in Farbe, mit insgesamt 260 Bildern. Hirmer Verlag, München, 1959. Leinen. DM 74,—.

Otto Demus und Max Hirmer. Romanische Wandmalerei. 240 Seiten mit 74 Abbildungen, 125 Bilder in Farbe und 321 in Schwarz-weiß. Hirmer Verlag, München, 1968. Leinen DM 145,—.

храмов Константинополя и цветными репродукциями мозаик и фресок, и лег в основу второй книги. Искусство Византии показано в ней от момента его зарождения по XV век и во всем многообразии: от художественных тканей, книжных миниатюр и эмали до чуда зодчества — собора Святой Софии. Бесспорно, это одно из лучших изданий, посвященных данной теме. Вводную статью к книге написал известный византолог профессор Эдинбургского университета Дэвид Тэлбот Райс, стараниями которого и была организована выставка. Из русских музеев в книге представлены: Эрмитаж (7 экспонатов), Третьяковская галерея (2 иконы) и Исторический музей в Москве (2 экспоната).

Внушительный том «Романская стенопись» — образцовое издание, и, вероятно, самый придирчивый критик не найдет в нем изъяна. Тема книги — стенная живопись Западной Европы с X по XIII век. Автор текста и составитель — проф. Отто Демус, ученый мировой известности. Этот труд есть результат его многолетнего изучения романских фресок. В интереснейшем своем исследовании Демус отмечает, что очень трудно, а иногда просто невозможно провести грань между византийским и романским искусством. И хотя после 1054 года границы господства православия и римокатоличества определились довольно четко, в эстетическом плане влияние Византии на Запад продолжалось еще длительное время. Большое количество греческих художников работало при дворах правителей и в религиозных центрах феодальной Европы. Но чем дальше шло время, тем большую роль играли местные живописцы и становились заметнее национальные черты в искусстве.

Поразительно обилие материала, представленного в этой книге. Возможно, что тут налицо вся романская стенопись, уцелевшая в пожарах, пережившая войны, выдержавшая испытание временем или освобожденная от позднейших записей. В указателе географических названий приведены сотни местностей в Италии, Франции, Испании, Англии, Германии и Австрии, в которых велись исследования. 125 цветных, 321 черно-белая и 74 фотографии в тексте, 2 карты и планы — таковы цифры, которые говорят сами за себя.

Все три книги отлично изданы. Это заслуга проф. др. Макса Хирмера — фотографа и издателя в одном лице. Его фотографии сочетают научную документальность и художественную красоту. Специалист-фотограф найдет в книгах справки, какими объективами и на каких пленках были сделаны снимки. Часть фотографий взята из архивов разных музеев — в книгах они перечислены точно.

Книги Хирмера — незаменимое пособие для художников и искусствоведов, а для любителей искусства и книголюбов — украшение библиотек. Как жаль, что они недоступны для читателей в России...



За последние два десятилетия на книжном рынке Западной Европы прочное место заняли издания по истории искусств, которые можно назвать «народными». Зачастую они выходят одновременно на разных языках, большими тиражами и по цене общедоступны. При широко поставленной рекламе выбор не представляет труда, тем более, что обычно книги присылаются для ознакомления на 10 дней бесплатно. Нравится — покупай, не нравится — верни обратно. Для подписчиков же, как правило, значительная скидка. В то же время качество этих изданий, в силу конкуренции, отличное.

Передо мной изящно изданный томик «Раннехристианское искусство. Византийское искусство» из серии «История стилей» штутгартского издательства Бельзер*).

Для такого типа изданий его можно назвать образцовым. На 192 страницах формата 15 × 21 см помещено, кроме обширного текста, 164 репродукции, из которых 49 цветных, и 25 планов. Ко всем иллюстрациям даны пояснения и справки. Вступление написал проф. д-р Отто Демус.

Цветные репродукции очень хороши. Но еще лучше черно-белые: они просто поразительно красивы! Напечатанные мельчайшим «растером» на шелковистой бумаге специальной краской, они производят впечатление рельефных изображений из серебристой фольги. Секрет заключается, вероятно, в «игре» глубоко-черной матовой краски на отражающей свет бумаге.

Хорошая и прекрасно изданная книга!

А. Русак

*) Irmgard Hutter. Frühchristliche Kunst Byzantinische Kunst. Belser Stilgeschichte Band IV. Mit 189 Abbildungen. Vorwort Prof. Dr. Otto Demus. 192 Seiten. Chr. Belser Verlag, Stuttgart, 1968. DM 24,80, Subskriptionspreis DM 19,80.

ЛЮДИ ЗА БОРТОМ

Называя свою книгу сборником «невыдуманных рассказов», Виктор Морт как бы отмежевывается от профессиональной — «выдуманной» — литературы или, быть может, извиняется перед читателем в своей мнимой литературной неискушенности. В какой-то мере каждая тема — будь то «невыдуманная» или «выдуманная» — берется из жизни, а не просто вы-

*) Виктор Морт. Хэппи энд (невыдуманные рассказы). Изд. В. Камкина. Вашингтон 1969.

думывается, но при этом автор взвешивает и оценивает свой материал, компонует и перекраивает, оттеняет несходство контрастами. Даже когда он мыслит свою еще ненаписанную книгу как свой рупор, как средство высказать свои собственные идеи, он не прямо от своего имени, а как бы устами мыслит свою еще не написанную книгу как свой рупор, как средство высказать своих героев, полугероев, негероев и антигероев, сознательно или бессознательно, высказывает впитанные им самим впечатления и наблюдения.

Вспоминаю одного харбинского стихотворца (которого Арсений Несмелов называл ласково «мой мужичок»), настолько неискушенного в литературе, что на всякое указание на недостатки он возражал, что «в его стихах нет ни одного слова *неправды*», как будто художественность противоречит правдивости и ею исключается! Это ставит нас вновь перед старым спором между Джоном Силвестером и Беном Джонсоном, между фотографией и живописью. Если Виктор Морт думал хотя бы в самой малой мере уязвить «выдумывающих» писателей, то здесь он ошибся, ибо разграничить в подлинном писателе функцию зеркала от функции творца далеко не всегда бывает возможно.

Думается пишущему эти строки, что Виктору Морту не было никакой надобности настаивать на «невыдуманности» своих рассказов и как бы извиняться в их недостаточной художественности. Дело в том, что рассказы «Хэппи энд», «Маленькая мама», «Синий шевроле» и «Липочка» — брызги самой жизни, очень печальные, очень оглядчивые, полные горькой иронии и очень мудрые. Над этими рассказами хочется безутешно плакать — не потому, что они «из жизни», а потому, что они *типичны* для сотен и тысяч подобных примеров отношений и положений, когда обостряется беспощадная борьба поколений и выступает во всем своем ужасающем безобразии истребление отцов и матерей детьми, теми самыми «невинными деточками» и «ангелочками» Достоевского, ради которых приносится столько жертв, так часто остающихся незамеченными, — словом, эти рассказы *литературны* в лучшем значении этого термина.

Старость, болезни, смерть, а главное, неблагодарность, одиночество и сознание полной ненужности старых людей — вот основные темы скорбной книги Виктора Морта. Следует сразу же оговориться, что Виктор Морт — зоркий наблюдатель, что он, совсем не «выдумывая», выхватывает из потока живой, воспринимаемой им трагически жизни только характерные, красноречивые детали, отсеивает их с большим чувством меры, создает образы и типы неотразимо убедительные, а сам остается в тени. Смотрите и делайте свои выводы, — как бы говорит он.

«Хэппи энд» и другие рассказы сборника — отнюдь не «сырье». Не вредят общему впечатлению большой силы ни редкие у автора стилистические шероховатости, ни начинающееся у него засорение русского языка, — до

последней страницы книга читается с неослабевающим вниманием. Правда, рассказ «Липочка» хотелось бы назвать нагляднее и ближе к делу — «Жертвой», а страницу о смерти президента в первом рассказе следовало бы совсем исключить из книги. Ведь с оценками автора не согласится добрая половина читателей, да и те, которые с ними согласятся, пожмут плечами в недоумении: зачем автору понадобился этот эпизод, не имеющий к рассказу никакого отношения? Такие вставки обычно воспринимаются как изъяснение верноподданнических чувств, в свободном мире вовсе излишних.

Не всем понравится и русификация церковнославянских цитат: в частности, эпиграф к рассказу «Маленькая мама» (рассказу очень хорошему) представляет собою недопустимую смесь современного русского языка в первой строке с церковнославянским языком (хотя и написанным — о, ужас! — по новой орфографии!) во второй. Это, быть может, «мелочь», но ведь вкус проявляется не только в крупном.

Трудно было бы отдать предпочтение какому-нибудь одному рассказу: все они равного качества и во всех тема старости и покинутости обрисована под новым углом зрения. Однако поскольку на окружающей нас шахматной доске человеческой жизни темные квадраты чередуются со светлыми, в сборнике «Хэппи энд» трагические рассказы тоже перемежаются с веселыми («Неудачники» и «Под знойным небом»), в которых выступают тоже старые люди — «наши за границей», но чуждые какого бы то ни было надлома. Причина, кажется, в том, что эти неутомимые добряки сумели сохранить свою независимость от собственных потомков.

Цинический вывод напрашивается сам собою, но цинизм, как таковой, нимало не свойствен Виктору Морту: его охват несравненно шире и глубже. Трагедия Михаила Степановича и «маленькой мамы», неоцененная жертва Липочки уходят корнями в онтологию мира явлений, который «во зле лежит», и в очень малой степени определяются случайностями характеров и положений.

Вл. Нежданов

В ПРЕОДОЛЕНИИ РОКА?

Вышла из печати четвертая книга стихов Бориса Нарциссова «Подъем». В этом сборнике поэт остается верен себе, своему таинственному Двойнику, своему «Автору и хозяину», посылающему ему из глубины «сигнальный свет».

В «Подъеме» можно различить две основные темы: тема Рока и — вторая — преодоление Рока или творческий путь.

«Бессмысленность и боль существованья» гнетут поэта. Он ищет забвенья в «бездонном ужасе темноты», прислушиваясь к хору «далеких звезд», созерцая их «хрустальный свет». Он вступает в беседу с памятью, с ночными призраками.

А ведь нежить она-то живучая,
А ведь память о старом не старится!

Как и в первых трех сборниках, в «Подъеме» много жутких видений из астрального мира. Б. Нарциссов наделяет их земной плотностью и реальностью, оправдывая этим теорию, что этот призрачный мир действительно существует, что живет он не только в нашем воображении. Поэт любит подобные картины: «Если закроешь глаза, То начнет темнота шевелиться» («Медуза»), или описание старого дома — «рыхлый, как трут», он не боится пожара, потому что он «не тут» — он призрачный . . . Стихотворение «Домовой» такое образное, что кажется, будто наблюдаешь игру лунного света на волне.

Реальные земные пейзажи написаны в тех же тонах: они или тревожные, озаренные огнями Апокалипсиса, либо колдовские, туманные. Поэта привлекает вид «гиблых мест», распада, разрушенья.

Тема любви редко затрагивается в стихах Бориса Нарциссова. Но в четвертом сборнике несколько стихотворений посвящены ей. Для романтика любовь — всегда роковая, ибо она неуловима, как в океане вода, которую луна тщетно пытается поймать своим неводом («Любовь»). «Все вещи можно измерить каким-нибудь числом, — говорит поэт, — и лишь Любовь Отчаяньем и ненавистью меряют». Любовь к стихам, как и любовь к женщине, мучает его.

Но как же быть с волнением в крови
И с этими ненужными стихами?

В стихотворении «Мера вещей» звучит также современная нота:

Мы скоро с километров перейдем
На световые годы и фотоны.

Тема смерти связана с темой Рока. Поэт одержим ею. Присутствие смерти чувствуется во всех его стихах. В четвертом сборнике близость ее особенно грозна и неотвратима: «Смерть бесшумной хищной птицей Повсюду следует за мной». Но кроме ужаса конца, в ряде стихов говорится также о состоянии загробном: «Там», «Египет», «И себе я приснился выходцем». Как сильно и образно сказано:

Наконец-то мне петлей железною
Совершили отверзанье уст.

(«Египет»)

Преодолеть Рок почти невозможно человеку, и все же надо бороться из последних сил! Путем борьбы с жизнью, путем творчества и любви: «Узор», «Двойник», Молитва — «Да, Боже, воскресни, суди земли», «Подъем», «Corde Ardente». Тема эта мужественна и оправдывает название книги.

В тему творчества можно включить Эдгариану и стихи о Лермонтове. Поражает у поэтов-романтиков, что они часто «перерастают самих себя», когда касаются чужого творчества — любимых поэтов. Особенно удачны у Б. Нарциссова произведения, написанные белым стихом, а также переводы, как, например, «Улалум» Эдгара По. Стихи о Лермонтове, которого Нарциссов называет «бедным демоном в сюртуке армейском», должны пленять русского читателя: мне кажется, Борис Нарциссов глубоко понял душу творца Тамары.

Ну да, — язык острее бритвы!
Но сколько нежности в душе,
В письме с Кавказа после битвы!
Ведь крови нет на палаше...

И дальше:

Бывает так: блестит кремнистый путь,
И злоба затаенная не душит,
И хочется любовью обмануть
Свою тяжелую, как камень, душу.

Но за стихами точку ставят кровью,
Как многоточие, на много лет...

Четвертый сборник стихов Б. Нарциссова — это новая ступень в его творческом пути.

О. Можайская

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Дынный, Александр. А. И. Куприн: очерк жизни и творчества. Изд. Russian Language Journal, East Lansing 1969. Стр. 123.

Костенко, Ліна. Поезії. СМОЛОСКИП, Париж 1969. Стр. 357.

Крик з могили. Захальвні вірші з України. СМОЛОСКИП, Париж 1969. Стр. 60.

Кумминг, Г. Ф. Яхонты на опале. (Трилогия эмигранта.) Мюнхен 1963. Стр. 214 + 7.

Меморандум академика А. Сахарова. Текст, отклики, дискуссия. Изд. Посев, Франкфурт-на-Майне. 1970. Стр. X + 103.

Самарин, Владимир. Цвет времени. Рассказы. Нью-Йорк 1969. Стр. 80.

Сахаров, А., акад. — см. Меморандум.

Amalrik, Andrej. Unfreiwillige Reise nach Sibirien. Christian Wegner Verlag, Hamburg 1970. SS. 242.

Anatomie des Antikommunismus. Mit einem Vorwort und einer Analyse von Eugen Kogon über die Funktion des Antikommunismus in der Bundesrepublik Deutschland. Walter-Verlag, Olten 1970. SS. 212.

A soviet heretic: Essays by Yevgeny Zamyatin. Edited and translated by Mirra Ginsburg. Introduction by Alex M. Shane. The University of Chicago Press, Chicago 1970. Pp. XX + 322.

Buchner, Hermann. Rußland für mäßig Vorgeschrittene. Das neue Gesicht des Sowjetstaats. Europa Verlag, Wien 1970. SS. 221.

Chrysostomus, Johannes. Kirchengeschichte Rußlands der neuesten Zeit. Anton Pustet Verlag, München:

Bd. I (1965). Patriarch Tichon. 1917-1925. SS. 420 + 2 Bl.

Bd. II (1966). Das Moskauer Patriarchat ohne Patriarchen. 1925-1943. SS. 328 + 2 Bl.

Bd. III (1968). Die russische Kirche in und nach dem Zweiten Weltkrieg. SS. 286 + 2 Bl.

Galtung, Johan — s. Mankind 2000.

Greene, Graham. Voyages avec ma tante. Ed. Robert Laffont, Paris 1970. Pp. 355.

Hindels, Josef. Was ist heute links? Sozialistische Strategie im Spätkapitalismus. Europa Verlag, Wien 1970. SS. 192.

Jungk, Robert — s. Mankind 2000.

Mankind 2000. Editors: Robert Jungk, Johan Galtung. Universitetsforlaget, Oslo 1969. Pp. 368.

Portisch, Hugo. Friede durch Angst. Augenzeuge in den Arsenalen des Atomkrieges. Verlag Fritz Molden, Wien 1970. SS. 312, mit 44 Dokumentarbildern.

Rimscha, von, Hans. Geschichte Rußland. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970. SS. XX + 696.

Sovietica. Anno VI. Napoli, gennaio 1970. Pp. 74.

Zamyatin, Yevgeny — s. A soviet heretic.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Наша редакция весьма заинтересована в получении отзывов иностранной прессы как о самих «Г р а н я х», так и об отдельных публикуемых в них материалах. Пользоваться услугами специальных бюро, поставляющих вырезки из печати, очень трудно по материальным обстоятельствам. Поэтому мы разрешаем себе обратиться ко всем нашим читателям и подписчикам со следующей просьбой:

При чтении местной иностранной прессы (газет, журналов) делать для нас вырезки, отмечая на каждой вырезке дату и название печатного органа, и пересылать в адрес редакции:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim, Flurscheideweg 15.

Можно делать еще проще, — отчеркивая статьи, посылать газеты или журналы целиком.

Исполнением этой просьбы каждый оказал бы «Г р а н я м» большую услугу.

С лучшими пожеланиями

Редакция журнала «Г р а н и»

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Необходимо повысить тираж нашего журнала. Наш журнал — трибуна для писателей, не могущих печататься в России. Наш журнал знакомит Запад с получаемыми нами из России материалами.

Мы обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой — расширять круг подписчиков журнала среди Ваших друзей и знакомых. Мы очень просим присылать редакции адреса тех лиц, к кому мы могли бы обратиться с предложением о подписке на наш журнал.

С искренним приветом

Редакция журнала «Г р а н и»

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v - V e r l a g , 6 2 3 F r a n k f u r t a m M a i n , 8 0 , F l u r s c h e i d e w e g 1 5 .

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается исторически ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Издательство «ПОСЕВ»

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

Цветная художественная суперобложка, твердый переплет, тисненый золотом, работы художника А. Русака. Фотография автора и его портрет работы московского художника В. Сидура

ТОМ ПЕРВЫЙ

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА
РАССКАЗЫ

Матренин двор. Случай на станции Кречетовка. Для пользы дела. Захар Калита. В томе 308 страниц и фотография А. И. Солженицына на меловой бумаге.

Цена в твердом переплете 18.-- н. м. В США и Канаде 6.-- ам. дол.
Цена в мягком переплете 15.-- н. м. В США и Канаде 5.-- ам. дол.

ТОМ ВТОРОЙ

РАКОВЫЙ КОРПУС
600 страниц

Цена в твердом переплете 24.-- н. м. В США и Канаде 8.-- ам. дол.
Цена в мягком переплете 21.-- н. м. В США и Канаде 7.-- ам. дол.

ТОМА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Цена кажд. тома в тверд. переп. 18.- н. м. В США и Канаде 6.- ам. дол.
Цена кажд. тома в тверд. переп. 15.- н. м. В США и Канаде 5.- ам. дол.

ТОМ ПЯТЫЙ

ПЬЕСЫ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ

Олень и шалашовка. Свеча на ветру. Правая кисть. Крохотки. Пасхальный крестный ход. Как читают Ивана Денисовича. Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. Ответ трем студентам. В томе 270 стр.

Цена в твердом переплете 15.-- н. м. В США и Канаде 5.-- ам. дол.
Цена в мягком переплете 12.-- н. м. В США и Канаде 4.-- ам. дол.

ТОМ ШЕСТОЙ

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА». КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Письма, записки заседаний и др. материалы, показывающие отношение А. Солженицына к СП, к вопросам цензуры, к судьбам отечественной литературы. Наиболее полный сборник документов, начиная с письма IV съезду СП. Статьи о творчестве А. Солженицына: Тарасовой, Благова, Лакшина. Библиография.

Цена в твердом переплете 18.-- н. м. В США и Канаде 6.-- ам. дол.
Цена в мягком переплете 15.-- н. м. В США и Канаде 5.-- ам. дол.

Издательство «ПОСЕВ»

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Н. ГОРБАНЕВСКАЯ
ПОЛДЕНЬ

Н. Горбаневская приводит документы, собранные ею по делу о демонстрации на Красной площади и снабжает их своими комментариями. Книга разбита на Пролог и четыре части: «Красная площадь», «Дело о нарушении общественного порядка», «Шемакин суд» и «Судьба Виктора Файнберга». В книге 500 стр. Мягкий переплет. Художественно исполненная цветная обложка.

Цена — 17.-- н. м. в США — 5.-- ам. дол.

ВОСПОМИНАНИЯ
ген. П. Н. ВРАНГЕЛЯ

Материалы, собранные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и светл. князем А. П. Ливеном, под редакцией А. А. фон-Лампе.

Книга перепечатана фотографическим способом из сборника «Белое Дело» («Летопись Белой Борьбы»).

В книге 648 страниц. Много иллюстраций и фотографий. 2 портрета генерала П. Н. Врангеля на меловой бумаге.

Цена 40.-- н. м. или 12.-- ам. дол.

БУЛАТ ОКУДЖАВА
ДВА ТОМА

ТОМ I: ПРОЗА и ПОЭЗИЯ — «Будь здоров, школяр», «Промоксис», Стихи и песни о войне, Стихи и песни о жизни и людях, Стихи и песни о вере, надежде, любви.

ТОМ II: ДВА РОМАНА — «Бедный Авросимов» и «Фотограф Жора»
Оба тома в твердом переплете с суперобложками.

Цена I тома 20.-- н. м. в США и Канаде 6.-- ам. дол.
Цена II тома 22.80 н. м. в США и Канаде 7.-- ам. дол.

МИХАИЛ ГОЛЬДШТЕЙН
ЗАПИСКИ МУЗЫКАНТА

Воспоминания известного скрипача М. Гольдштейна о своей жизни и музыкальной деятельности в СССР. В книге 164 стр. Мягкий переплет. Портрет автора на меловой бумаге.

Цена книги 8.80 н. м. в США и Канаде 3.-- ам. дол.

МИЛОВАН ДЖИЛАС
РАЗГОВОРЫ СО СТАЛИНЫМ

Перевод с сербскохорватского. Книга включает также статью автора, написанную по поводу девяностолетия со дня рождения Сталина.

Цена книги 15.-- н. м. в США и Канаде 4.75 ам. дол.

Possev-Verlag, D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15